

Е.А. Стеценко

**НЕ
ДАТЬ
ИСЧЕЗНУТЬ**

Екатерина Александровна Стеценко

НЕ ДАТЬ ИСЧЕЗНУТЬ

Чебоксары 2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)6-46
С79

Стеценко, Е. А.

С79 Не дать исчезнуть: воспоминания / Е. А. Стеценко; сост. В.М. Алпатов. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019. – 104 с.

ISBN 978-5-6043527-6-2

В издании публикуются воспоминания Екатерины Александровны Стеценко (1946–2018), литературоведа-американиста, доктора филологических наук, главного научного сотрудника ИМЛИ РАН, члена редколлегии журнала «Литература двух Америк».

ISBN 978-5-6043527-6-2

© Стеценко Е.А., 2019
© Алпатов В.М., составитель, 2019
© ЦНС «Интерактив плюс», 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здесь публикуются воспоминания моей жены Екатерины Александровны Стеценко (1946–2018), литературоведа-американиста. Они были написаны в 2012 г. и дополнены в 2016 г.

Об этапах жизни Екатерины Александровны достаточно подробно сказано в воспоминаниях. О ее профессиональной деятельности также говорится в журнале «Литература двух Америк» (2018, №5) и в посвященном ее памяти сборнике «Философско-эстетические константы литературы США в динамике художественных направлений» (М., 2019).

Воспоминания печатаются в таком виде, в каком они были написаны. В отдельных случаях даются мои постраничные примечания.

В качестве приложения публикуется статья Екатерины Стеценко, тогда школьницы, появившаяся в 1964 г. в «Комсомольской правде». Мне кажется, что она не потеряла актуальности.

В.М. Алпатов, член-корреспондент РАН

Первое ощущение – выход из темного коридора, первые воспоминания – проблески реальности в абсолютной темноте сознания. Главный импульс, до сих пор возвращающий меня в собственное «доисторическое» время – запахи сирени, жасмина и пионов: я родилась в мае, и меня выносили на прогулку в весенний сад. Из первых четырех лет жизни – только несколько ярких пятен. Я сижу в коляске и грожу кулаком соседским мальчишкам, перелезающим через забор, чтобы полакомиться вишнями. Дача, огород, вокруг меня огромные кочаны капусты и уходящий далеко в небо дощатый забор. Меня ведут к соседям – к ним пришли приятели, равнодушные к маленьким детям, я уже знаю, что они будут спрашивать меня, сколько мне лет и как меня зовут. Мне странно, почему они не могут запомнить мое имя, и удивительно, почему на мой ответ «Татя» (я не выговаривала «к») они начинают громко смеяться. Помню также деревянное крыльцо дачи Патонов в Буче – я сижу на коленях у мамы и с ужасом смотрю на ревущего мальчика Мишу, внука профессора Гудима-Левковича. Это, пожалуй, все, что оставила память о, наверное, самых важных годах становления моей личности. Именно тогда познание мира произошло не в рациональной, вербальной форме, а на уровне интуиции, и главным оказывалось не постепенное освоение предметов, реалий, событий, слов, а целостное восприятие окружающего, некая всеохватывающая атмосфера, поглощающая и направляющая общее движение жизни. Трудно постижимая разумом и чувством, она более доступна подсознанию и интуиции, которые и лежат в основе и начале человеческого сознания. Не отсюда ли и особенности «детства» всего человечества с его анимизмом, религиозностью, мистицизмом?

Нерациональная составляющая моего внутреннего мира доминировала где-то до двенадцатилетнего возраста, когда я старалась жить, полагаясь не на логические рассуждения, а на спонтанную интуицию, которая в подавляющем большинстве случаев давала мне верную подсказку. Все ошибки и глупости я совершала позже, надеясь на здравый смысл. В детстве внутри меня существовал какой-то темный, уходящий глубоко в бездну сознания коридор, из которого, всегда внезапно, без моей воли, могли выплывать числа, картины будущего и даже туманные пророчества, относящиеся к моей судьбе. Чтобы получить ответ на какой-нибудь вопрос, нужно было очень сосредоточиться, углубиться в этот коридор, и ответ появлялся сам, что в конце концов стало меня пугать. Эта непонятная способность проявляла себя и в детских играх – я всегда легко угадывала, какой предмет спрятан и где. С возрастом все это исчезло, чему, по-видимому, немало способствовало школьное образование, целиком основанное на рационализме и отвергающее всякую эзотерику. А, может, я, просто повторяя путь моих предков, переросла свое «Средневековье» и вошла в «Новое время».

Если в раннем детстве личность формируется под влиянием общей атмосферы окружающего, то главную роль здесь безусловно играет семья, особенно, если ребенок, как я, не ходил ни в ясли, ни в детский сад. Кроме того, я уверена, что родившийся человек – не чистый лист, и от его генов зависит не только его тело, но и сознание и душа. Все, что переживали его

предки во многих поколениях, должно проявиться и продолжиться и в его личности и судьбе. Поэтому позволю себе углубиться в историю моей семьи, тем более, что одной из причин этих записок является чувство долга по отношению к людям, о которых я только слыхала или которых я знала, и мне жаль, если они уйдут в полную безвестность, как будто их и не было.

Писать о близких людях чрезвычайно трудно – нет объективной оптики, необходимого расстояния, трезвой отстраненности. Кроме того, тяжело преодолеть свойственное всем людям стремление к идеализации и мифологизации прошлого, за романтической оболочкой которого скрывается много серого, мелкого, некрасивого и жестокого. Не зря правду называют горькой, и к ней можно добавить еще много эпитетов. Поэтому постараюсь давать как можно меньше характеристик, сосредоточившись на фактах, и судить не отдельных людей, а нравы – ведь из отдельных характеров и судеб складывается история человечества, а она интереснее всего частного.

Мне хотелось бы быть полностью объективной и занять позицию стороннего наблюдателя, но я отдаю себе отчет в ограниченности собственного мировосприятия и неизбежной предвзятости, обусловленной характером и судьбой. Поэтому моя повесть неизбежно будет субъективной, хотя в ней и есть некая «сверхзадача», которая проявится к ее концу.

Все имеет свои место и роль в потоке времени, все имеет свои пороки и достоинства, начало и конец, все движется и развивается, созидая и разрушая. Исходя из этого посыла, я не хочу идеализировать ту или иную эпоху (все они в определенной степени закономерны), как не собираюсь идеализировать ту или иную социальную группу. Но тот временной период, в котором довелось жить моим ближайшим соседям и мне, ознаменовался историческим разломом – все разделилось надвое, все пришло к конфликту, противопоставлению, противоречию. Поэтому и лейтмотивом моего рассказа стало сопоставление разных культур и попытки восстановления целостности мира.

Предки мои, как и все жившие на земле, были частью своего времени, и многие из них попали под колесо истории – одни были им раздавлены, другие сумели себя сохранить. Конец жизни моих прадедов и половина жизни моих дедов, жителей Российской империи, пришлось на годы советской власти, в этот период уместилась вся жизнь моих родителей и почти две трети моей, заставшей возвращение к капитализму. Таким образом, по крайней мере три поколения, живших в разных эпохах, но и чисто «советская» генерация благодаря преемственности старорежимного воспитания пережили и смену культур, и сопутствующие ей внутренний разлом и тяжесть несовпадения внутреннего и внешнего мира.

Все ветви моей семьи в основном принадлежали к истории к южной части Российской империи, Малороссии или Украины (хотя есть корни и в Царском селе – Кобелевы, и в Костроме – Ратниковы). Мои предки были дворянами – столбовыми или служивыми, богатыми или мелкопоместными, а то и имевшими только личное дворянство. К счастью, в библиотеках и архивах сохранились их родословные, и я знаю, что были среди

них казацьки сотники, полковники, помещики, офицеры, юристы, историки, фольклористы, врачи, учителя, профессора, инженеры и даже министры. Браками они были связаны со многими другими дворянскими родами, в том числе с гетманскими (Скоропадские, Самойловичи, Полуботко), есть там Кочубеи, Святополк-Мирские, Лизогубы, Данилевские, Яновские, Толстые, Милорадовичи и многие, многие другие. К нашей семье по свойству имеют отношение и Миклухо-Маклай, и Марко Вовчок (ее первым мужем был этнограф и фольклорист Афанасий Васильевич Маркович). С течением времени дворянские гнезда разорялись, имения приходили в упадок и продавались, богатства таяли, и вышла из этих семейств русская интеллигенция, главным багажом которой были не земли и дома, а знания и культура и выработанные поколениями жизненные принципы и нравственные качества. Все мои бабушки и дедушки относились к так называемой прогрессивной интеллигенции: были антимоноархистами, приветствовали Февральскую революцию, были неверующими (однако церковные праздники и обряды соблюдали). Мамин отец состоял в профессорской партии кадетов. О большевиках и слыхом не слыхивали, они свалились, как снег на голову, и назывались не иначе как «эти бандиты».

Моя мама – Наталья Яковлевна Маркович. Ударение на первом слоге – имена первых Марковичей, поселившихся на Украине (в XVII веке в Сербии были распространены библейские имена), а также то, что во время Петровских войн Петр Первый посылал на допросы пленных сербов к полковнику Андрею Марковичу (кстати, обладавшему очень крутым нравом), свидетельствуют о сербском происхождении этого рода (хотя существует и еврейская версия). Марковичи были одним из самых именитых и богатых родов на Украине и владели множеством земель, хуторов и мельниц, даже целым городом Бурумля, на их средства был построен собор в г. Глухове. Сестра Андрея, Анастасия, была замужем за гетманом Скоропадским (властная красавица, в ее времена говорили, что Украиной правит не булава, а плахта), их дочь Ульяна вышла за одного из Толстых, а сын Андрея, Яков, был зятем гетмана Полуботка и состоял при нем «поскарбием генеральным» (министром финансов). Моя же ветвь идет от Андрея Андреевича. Прадед, Николай Яковлевич Маркович, был помещиком и под конец жизни, под влиянием художника Николая Николаевича Ге, увлекся толстовством и детей воспитывал в суровом духе. Мой дед, Яков Николаевич, и его братья умели слесарничать и столярничать и были приучены к скромности и аскетизму. Женат Николай Яковлевич был на Александре Ивановне Товстолес, дочери предводителя дворянства Борзенского уезда Черниговской губернии, Ивана Ивановича Товстолеса (по семейному преданию, гоголевские старосветские помещики были списаны с кого-то из Товстолесов, а фамилия Товстогуб – контаминация Товстолесов и Лизогубов). Из их детей, Якова, Николая, Петра, Константина, Ольги и Софьи, которая умерла молодой от туберкулеза, я застала троих – Якова, Константина и Ольгу (все они ушли в 60-е годы).

Мамина мать – Мария Ивановна Самойлович, дочь Ивана Никитовича Самойловича (родственная ветвь нежинского гетманского рода), врача

Нежинского лицея (его отец был преподавателем математики в костромской гимназии, учителем Писемского, который изобразил его в своем романе «Люди сороковых годов» в образе Николая Силыча Дрозденко), женатого на Надежде Ивановне Товстолес, так что мои дедушка и бабушка – двоюродные брат и сестра, испросившие разрешение на брак у самого патриарха. Яков Николаевич Маркович получил техническое образование в реальном училище в Харькове и в университете в Германии и был профессором Киевского индустриального института (впоследствии – Политехнического). По внешности, воспитанию и складу ума это был типичный русский интеллигент, дореволюционный профессор, словно вышедший со страниц Тургенева или Чехова – высокий, стройный, с белоснежными волосами и бородкой, в очках в тонкой оправе, исключительно опрятный и подтянутый. Он всегда выходил к обеду в пиджаке, ел только на белой скатерти, пользовался подставкой для столовых приборов и полотняной салфеткой, подававшейся в серебряном кольце. К сожалению, я общалась с ним только эпизодически и в «неразумном» возрасте, а когда он уже жил с нами, ему было 90, и он быстро одряхлел. Знаю от мамы, что был он типичным «естественником», не обладавшим присущим гуманитариям широтой интересов, большим педантом, человеком чрезвычайной порядочности и идеальным семьянином. Занимаясь кузнечно-прессовыми машинами, он был нужен как специалист советской власти, которая, вдоволь над ним поиздевавшись, в конце концов одарила его самыми высокими орденами и поместила статью о нем в Большую Советскую Энциклопедию. Он же, гордясь своими заслугами перед наукой, эту власть оценивал вполне адекватно – Сталина ненавидел, считая тираном, и был несказанно рад его смерти. Помню, как, умирая, он утешал мою маму тем, что предсказывал крушение этой коммуны по примеру Парижской.

Моя бабушка, Мария Ивановна, до замужества успевшая побывать классной дамой и съездить с подругой в Европу и Палестину, знала около десятка иностранных языков и, по рассказам, обладала «мужским» складом ума и исключительной добротой (она умерла в 1941 году). В отличие от мужа, она живо интересовалась искусством и собрала прекрасную библиотеку на нескольких языках. На фотографиях у бабушки тонкое, нежное и всегда несколько печальное лицо, что чаще всего свидетельствует о душевной глубине. У меня от бабушки сохранились пожелтевшие брюссельские кружева, бисерные подвески (она была рукодельницей), свадебные митенки и перламутровая иконка с распятием, привезенная из Святой Земли. Знаю, что она была неверующей и не признавала никакую мистику (это передалось моей маме и частично мне). Мама уверяла, что при них с бабушкой никогда не удавались спиритические сеансы. Правда, однажды бабушкин рационализм был поколеблен – во время путешествия по Европе подруга уговорила сопроводить ее к известной в Германии гадалке; барышни молча ожидали своей очереди в приемной, когда вышла горничная и сказала, что бабушку мадам принимать отказывается. Это было поразительно, так как в доме гадалки бабушка не высказывала никаких критических замечаний.

Хочу упомянуть здесь еще нескольких людей из семьи моей мамы, которые не оставили после себя потомства и поэтому быстрее остальных могут быть смыты рекой времени. Это родной брат моего дедушки Яши, Константин, инженер и холостяк, работавший на Украине, на Дальнем Востоке и в Москве, переживший какую-то любовную драму, а в старости переехавший к сестре в Киев. В моей памяти он остался очень тихим, добрым, ласковым стариком, страдавшим легочным заболеванием и любившим возиться с маленьким токарным станочком, стоявшим у него на письменном столе, кстати, сделанном его собственными руками.

Это Вера Иосифовна Богатко (сестра очень высокопоставленного царского генерала, эмигрировавшего в Югославию), кузина моих дедушки и бабушки со стороны Товстолесов. Она много занималась со мной в детстве и запомнилась мне как один из самых светлых людей, встреченных в жизни. Она считалась некрасивой (маленького роста, хрупкая, с большой верхней челюстью и выступающими зубами), но ее лицо всегда казалось мне прекрасным, так как озарялось лучащимися, очень добрыми и умными голубыми глазами. Через много лет я увидела похожее лицо – это была известная американская писательница Юдора Уэлти, с которой я имела счастье познакомиться на посвященной ей конференции в ее родном Джексоне (штат Миссисипи). Та же тяжелая нижняя часть лица, те же выступающие зубы - некрасивость, перечеркнутая добротой и интеллектом. Такие разные женщины, никогда не привлекавшие мужчин, прожившие в незаслуженном одиночестве очень разные судьбы по разные стороны океана. Бабушка Вера, прочитавшая мне столько сказок, была провинциальной учительницей младших классов, далее переехала в Киев и в старости взяла на воспитание Боря Ремизова, внука известного русского писателя-эмигранта Алексея Ремизова.

Сестра моего прадеда, Ивана Самойловича, Александра вышла замуж за Павла Довгелло, и одна из ее дочерей, Серафима, была женой Алексея Ремизова, человека талантливого, но чрезвычайно странного. В семье его побаивались, так как его поступки и поведение всегда были неожиданны и непредсказуемы. (Впоследствии в его биографии писали, что «консервативные дворянские родственники Серафимы Павловны не смогли его понять».) Происходил он из купеческих семей Ремизовых-Найденowych, родственных многим именитым московским купеческим родам. У Серафимы и Алексея родилась дочь Наташа, которая была «временно» оставлена на попечении теток, Лидии и Екатерины Довгелло, когда родители после революции эмигрировали в Париж. Наташа, которой так и не удалось больше увидеться с отцом и матерью, стала филологом, жила в Киеве и вне брака родила сына Бориса от Ленинградского инженера Зиновия Буничя. В 1943 году она умерла от сердечной болезни (хоронить ее пришлось моей маме), и мальчика взяла к себе Вера Иосифовна. Боря закончил филфак Киевского университета и аспирантуру, стал доцентом, всю жизнь преподавал зарубежную литературу на романо-германском факультете. Женат он был на Вере Андреевне Бабич, дочери нежинской гимназической подруги Веры Иосифовны. Их сын Петя женился на еврейке и переехал в Израиль, так что внук писателя-русософила Ремизова

заканчивал свои дни в доме престарелых близ Нетаньи. Он почти ослеп и после перелома ноги передвигался в инвалидном кресле. Но на жизнь не роптал – у него был счастливый характер, судьба научила его довольствоваться малым. От деда он унаследовал странную неказистую внешность и характер, и особенно – страсть к фантазированию, которая при отсутствии художественного таланта (а языков знал несколько и хорошо) вылилась в стихийную страсть к бытовому сочинительству. Он часто попадал впро-сак, рассказывая о «похоронах» живых людей или встречая на улице давно умерших знакомых. При этом преподавателем был прекрасным, хотя писать не любил, оставив после себя одну небольшую книжечку об Элизабет Гаскелл и пару предисловий. Некоторая патологичность была в его любви к кладбищам, старикам и особенно к старухам, общество кото-рых он предпочитал молодежи. Он помнил даты рождения и именин по-койных подруг своей матери и в эти дни посещал их могилы. Его обожали старорежимные пожилые дамы, которым, надо отдать ему должное, он много помогал. При этом был совершенно равнодушен к детям и внукам. Несомненно, на почве его мужской непривлекательности у него развилось множество комплексов. К тому же, ему приходилось выживать как внуку эмигранта-антисоветчика. Ему пришлось публично отказать от деда и от его наследства и вступить в партию (единственный член партии в нашей семье). Для набожного человека (а Боря крестился у каждой церкви и могилы) такое бесследно пройти не могло. Позже я поняла, что было в нем не только уязвленное мужское, но и профессиональное тщеславие, да и отсутствие подлинной доброты. При этом у него была не очень приятная для окружающих привычка бросаться к малознакомым людям с объять-ями и поцелуями. Человеком он был безусловно изломанным, но в целом делал много добра, в том числе и мне, за что ему спасибо.

Семья моего отца, Александра Федоровича Стеценко, по семейному преданию происходит из казацкого рода, но уже мой прапрадед, разбога-тев, купил имение в селе Киселевка Черниговской губернии и завел свеч-ной заводик, а прадед, Петр Иванович, закончив университет, получил личное дворянство. Женившись на юной черноволосой красавице-беспре-даннице Марии Кирилловне, возможно, с большой примесью тюркской крови, жил мелкопоместным помещиком и родил двенадцать детей, из ко-торых выжило только четверо, а до старости дожило трое. Иван закончил химический факультет Петербургского университета, женился на Екате-рине Константиновне Карнович (двоюродной сестре артиста Евгения Карнович-Валуа) и всю жизнь прожил в Ленинграде (был главным инже-нером фабрики «Заря»), по его стопам пошла и его дочь Анастасия, моя тетья Ася, ставшая доктором химических наук. Федор, мой дед, родив-шийся в прямом смысле «в рубашке» и проживший 96 лет, учился на ма-тематическом факультете Киевского университета, был в аспирантуре у профессора Букреева (его сын-врач лечил всю интеллигенцию Киева и фактически был нашим семейным врачом), а после женитьбы получил должность инспектора Черниговской гимназии, перед революцией же стал директором гимназии в Кролевце. Дед был жизнелюбом, заядлым танцором, обожал далекие пешие прогулки и путешествия, обладал

типично украинской лендой и упрямством. В начале 1900-х годов он дважды ездил с группой киевских преподавателей в Европу, о чем сохранил воспоминания на всю жизнь. «Я видел Неаполь и не умер», – любил он повторять с улыбкой, но особое впечатление на него произвело радушие, с которым их встречали чехи. Женился он на Марии Александровне Кобелевой, дочери известного в Киеве архитектора, Александра Васильевича Кобелева (Национальный банк, Центральный телеграф, Высшие женские курсы и пр.), родившегося в Царском селе в семье потомственного офицера и бывшего крестником самого Александра Второго. По рассказам моей мамы, хорошо его знавшей, был это человек исключительно добрый, благородный, возвышенный и немного наивный. Будучи одно время архитектором на юго-западной железной дороге, он получал министерское жалование и часть его раздавал швейцарам, уборщицам и дворникам. По недоразумению, даже был записан в сочувствующие революционерам, так как ушел с высокой должности из протеста против увольнения многолетнего сотрудника с неблагонадежными взглядами, и мотивы его поступка были исключительно гуманными. Когда сносили профессорское кладбище на территории Политехнического института, он за свой счет перенес на новое место несколько могил своих коллег. Удивительно, но большевики его не трогали. Один раз, к ужасу и панике всей семьи, его забрали ночью, не дав никаких объяснений, но утром он вернулся и сообщил, что был в театре. Моя бабушка решила, что старик рехнулся, но оказалось, что его возили как специалиста инспектировать надежность сцены оперного театра перед партийной конференцией. С Кобелевым связана байка, характеризующая нравы дореволюционного Киева. Летом прадед снимал дачу под Киевом и, если жена давала ему в городе какие-нибудь поручения, а он задерживался, то находил на улице «босьяка», вручал ему деньги на покупки и извозчика и адрес дачи, и не было случая, чтобы его обманули. При уплотнении после революции в профессорскую квартиру Кобелева, где и так жило восемь членов семьи, подселили шулявскую проститутку, принявшуюся воровать книги и топить ими печку. Бабушка пошла жаловаться к Владимиру Затонскому, тогдашнему самому высокому киевскому партийному начальнику и отцу будущего академика и руководителя моей кандидатской диссертации. Он выслушал ее сочувственно, но сказал, что она должна понимать «кто вы, а кто она (проститутка)» – имелась в виду «социальная близость» к советской власти. Потом на мои вопросы об отце моего шефа бабушка отвечала – «этот бандит был получше остальных». Жена Кобелева, Елена Леонидовна Буюкли, с которой он познакомился на студенческой практике в г.Рени, была из семьи бессарабских помещиков греческого происхождения (ее мать имела экзотическое имя Земфира и фамилию Давыдогло, отец закончил Московский университет и был преподавателем математики, его родной брат жил в Афинах), выпускница Московского института благородных девиц. Нравы в этом заведении ей не нравились, поэтому свою дочь она отдала в киевскую гимназию. У Кобелевых было трое детей – Николай (погиб в Крыму у Врангеля), Леонид (был женат на дочери профессора Индустриального института, эмигрировал с женой и

тремя дочерьми в Югославию) и Мария, моя бабушка Муся, которая всю жизнь посвятила троем детям, хотя мне советовала заняться карьерой и ни в коем случае не делать ставку на замужество.

Бабушка Муся, по внешности типичная гречанка, и дедушка Федя, по внешности типичный украинец, познакомились на университетском балу. На следующий день дедушка явился в дом Кобелевых с визитом, букетом и словами: «вчера я имел честь быть представленным вашей дочери, разрешите преподнести ей цветы». Светский красавец понравился Елене Леонидовне, визиты продолжились и закончились венчанием. (Бабушка говорила, что еще до знакомства с дедушкой ей приснился сон о замужестве и переезд в Чернигов – так оно и вышло.) У них родилось трое детей – в 1911 году мой отец, Александр (в семье его на греческий манер называли Ликой), в 1917 году – Ольга и в 1918 году – Елена (Ляля). Благополучие закончилось во время Гражданской войны – арест деда с формулировкой «за популярность в городе», которого ради развлечения ставили к стенке на глазах жены и малолетних детей (здесь, по словам бабушки, причина замкнутого характера моего отца), разорение имения, бегство в Одессу, отказ от эмиграции и возвращение, с переодеванием в крестьянскую одежду, в поезде с котовцами. (Позже, смотря пафосный фильм «Котовский», я вспоминала бабушкин рассказ о бочке самогона в центре теплушки, о звериных лицах – «сущие бандиты» – и о том, как какой-то старик-попутчик, признав в ней благородную барышню, предложил свое покровительство: если что, я скажу, что вы моя внучка, больная сифилисом») В конце концов семья из провинции переехала в Киев к Кобелеву. Какое-то время дед занимал должность директора гимназии, а потом, до глубокой старости, работал школьным учителем и преподавателем математики в техникуме и на рабфаке. Был он учителем от Бога и умел так объяснять задачи, что в них начинали разбираться даже самые тупые ученики. До конца своих дней, практически ослепнув, он сидел за письменным столом и, вооружившись лупой, писал так и не законченный учебник по математике.

Папина сестра Оля была очень красивой, яркой, живой девушкой, имевшей массу поклонников. Но судьба ее сложилась трагично – она заболела септической ангиной, давшей серьезное осложнение на сердце, и умерла от стенокардии в возрасте 42 лет. (Это была первая и очень тяжело переживавшаяся смерть близкого человека в моей жизни.) Не было удачным и ее замужество. Во время немецкой оккупации она, под влиянием запаниковавших подруг, решив, что ее жених, человек преданный и верный, не вернется с фронта, совершила роковую ошибку – поддалась на уговоры настырного ухажера и вышла за него замуж. (Василий Гаврилович Приходченко потом стал доцентом Киевского политехнического института). Он был выходцем из мещанской среды, совершенно неподходящий для нашей семьи. Внешне весельчак и балагур, он обладал весьма неприятными чертами – проницательностью, хитростью и, как выяснилось, нечистоплотностью. Кончилось это тем, что у него, одновременно с моим двоюродным братом Сашей, на стороне родился другой ребенок, и он тетью Олю бросил. На суде он заявил, что разводится потому, что наша

семья антисоветская, а он хочет создать настоящую советскую семью, что по тем временам было очень опасной подлостью. Когда тетя Оля, работавшая химиком-технологом, умерла, он пытался забрать сына, но его отстояла и оставила у себя вторая папина сестра Ляля, получившая архитектурное образование.

Хорошенькая тетя Ляля, всегда находившаяся в тени своей более яркой сестры, тоже поспешила выйти замуж в 1943 году. Ее брак, казавшийся странным и поспешным, оказался достаточно удачным, если не считать отсутствия детей, которых категорически не хотел ее муж, Евгений Александрович Свечников. Уже к тому времени разведенный, старше Ляли на 12 лет, некрасивый, сутулый, мрачноватый, он был человеком в целом умным, интеллигентным и музыкальным. От отца, весьма предприимчивого инженера-строителя и владельца нескольких киевских доходных домов, ему достался двухэтажный кирпичный частный дом с небольшим спускающимся в овраг садом на Половецкой улице. Не попавший как белобилетчик по зрению на фронт и оставшийся в Киеве при немцах, он был угнан в Германию, но сумел еще на территории Украины сбежать из поезда, вернулся домой, и после освобождения Киева перебивался работой фотографа, так как на другую работу его не брали. Однако в конце концов ему удалось устроиться преподавателем в Пищевой институт, а затем и в Политехнический, защитить кандидатскую диссертацию, стать доцентом и зарабатывать по тем временам вполне приличные деньги. Дядя Женя обожал оперу, собирал пластинки и был концертмейстером в самодеятельном институтском хоре (вся его семья была музыкальной, его двоюродный брат – композитор Анатолий Свечников). При всей своей внешней нелюдимости он обладал авантюрной жилкой и незаурядным чувством юмора. Сибарит и жизнелюб, советскую власть истово ненавидел и из тоски по европейскому образу жизни ежегодно ездил на своем «Москвиче» в Прибалтику. Его настольными книгами были «Граф Монте-Кристо», Джером К. Джером и романы Ильфа и Петрова. Когда я при нем ругала советскую власть, он всегда «восхищался», каким «умным вещам учат теперь в университете». За две недели до смерти, а умер он внезапно 15 января 1970 года, на мой вопрос, где он собирается встречать Новый год, изобразив недоумение, ответил, что этот год он вообще не будет встречать, зато с радостью отметит 1984-й (тогда вышла в самиздате книга Амальрика «Доживет ли советская власть до 1984 года?»). Тетя Ляля, женщина ленивая, пассивная, без ярко выраженного личного начала, легко поддающаяся мужскому авторитету, думаю, оправдала его ожидания (чем-то она напоминала чеховскую «душечку»). Муж был для нее непререкаемым авторитетом, таким же стал и ее второй супруг, Николай Ильич Черняк, доктор наук, работавший в академическом институте. Он был разведен, жил один и, узнав о смерти дяди Жени, которого хорошо знал в молодости, справедливо решил, что у такого умного человека, как Свечников, должна быть достойная вдова (тем более, внучка Кобелева). Через полгода он явился с букетом, еще через месяц сделал предложение, а я уговорила тетку выйти за него замуж, ведь она никогда не работала и была в стесненных обстоятельствах, а тут такая удача –

интеллигентный профессор. Под его крылом тетя Ляля благополучно прожила около 17 лет, а потом перешла в Сашину семью, где дожила до очень глубокой старости в полном здравии.

В папиной семье в студенческие годы жил также Сергей Бабулевич, сын Анастасии, родной сестры дедушки Феди. Его отец, царский офицер, был расстрелян, и мать отправила сына в Киев в семью брата для получения образования. Дядя Сережа стал архитектором (в Киеве он успел построить ротонду в Первомайском саду – теперь на ее месте арка Дружбы народов). Женат он был на русской немке, Ренате фон Крамер, у них был сын Никита, родившийся в 1939 году. Дядя Сережа воевал во время войны на фронте, попал в Харьковский котел, был взят в плен, откуда ему удалось передать записку родственникам, и моя тетя Ляля с Ренатой, зашив в платье золотые украшения и взяв несколько пар обуви, пробирались к нему по оккупированной территории, чтобы его выкупить. Условия в лагере были ужасающие, пленных держали в яме по колено в воде, а подкармливали их местные крестьянки, но украинцев охотно отдавали родственникам, даже не спросив вознаграждения. Так он оказался в Киеве во время оккупации. Приход советских войск не сулил ему ничего хорошего – сын «врага народа», женатый на немке, попавший в плен, живший при немцах. Пришлось уйти – сначала в Германию, где Никита закончил школу, потом – в Америку, где семья поселилась в Нью-Джерси. И дядя Сережа, и Никита стали довольно процветающими архитекторами, строили небоскребы на Манхэттене, дворцы в Саудовской Аравии и дома и административные здания во многих местах. С Никитой мне удалось несколько раз повидаться в Киеве, Америке и Чехии и подружиться, застала я и его маму Ренату.

Семьи моих родителей жили в профессорских домах на территории парка Индустриального института, который построил сам Кобелев, там же читавший лекции на строительном факультете. Жители этих домов дружили семьями, ходили друг к другу в гости, для детей устраивали совместные праздники. Друзьями детства моей мамы оказались братья Патоны, Борис и Владимир (Одя), правда, воспитывали их по-разному. Бабушка рассказывала, что профессора Политехнического института без одобрения относились к готовности академика Евгения Оскаровича Патона служить Советской власти, и особенно их возмущала его фраза в одном из интервью, где он упрекал коллег в том, что они «не поняли Октябрьскую революцию (они-то как раз поняли!)». Братьям Патонам разрешалось играть с детьми прилегавшего к институту рабочего района Шулявки (обратно домой их зазывали охотничьим рогом) – их мать, Наталья Викторовна, и тетка, Ольга Викторовна, прямо говорили, что они должны знать людей, среди которых им придется жить. Моя же бабушка Маруся, в надежде, что «скоро это все закончится», мамину сестру до седьмого класса сама обучала дома и старалась подбирать детям друзей из профессорской среды. «Это» не кончалось долго, для моих родителей – никогда. Кто был прав? Казалось бы, очевидно – Борис Евгеньевич Патон стал крупным ученым и в течение 50 лет бессменным президентом Украинской Академии наук, Одя – доктором наук; сестра же моей мамы долго

металась в поисках своего места в жизни и в конце концов эмигрировала во время войны, а мама, решившая заняться генетикой и пережившая ее разгром, осталась домохозяйкой. Борис Патон был членом ЦК компартии и дружил с ее первыми секретарями; мои родители прожили жизнь обычных людей в советской коммуналке, на нищенскую зарплату инженера. И все же, с моей точки зрения, не так все просто. Конечно, некоторая пассивность, замкнутость, отсутствие смелых, решительных поступков, желание плыть по течению, смирившись со своим положением и уровнем жизни, судьбы моих родителей обесцветили. В принципе они следовали устоям русской интеллигенции – делать честно свое дело, служить ему, а не власти, никогда ни о чем не просить, довольствоваться тем, что есть. В советское время это могло привести к сползанию вниз по социальной лестнице, потере статуса. Но здесь была и попытка сохранить свою идентичность, достоинство, преемственность культуры и морали.

В 1929 году маминого отца арестовали, обвинив в шпионаже в пользу Германии, Норвегии и Японии (!). В то время институтские профессора не ложились спать до двух часов ночи, так как до этого времени у домов мог появиться черный воронок, и никто не знал, где он остановится и в какую квартиру зайдут люди в черном. Все имели на всякий случай заранее приготовленную «допровскую корзину» с запасом чистого белья и сахарей. Якова Николаевича Марковича год продержали в Лукьяновской тюрьме, мучая допросами «с пристрастием», после чего запретили жить на территории Украины и сослали в Горький. Так поступили не с ним одним. По-видимому, это был один из способов обеспечить растущую горьковскую промышленность квалифицированными кадрами. Моей бабушке это стоило здоровья и жизни. Во время дедушкиного ареста у нее случился инсульт, и оставшиеся ей годы она прожила глубоко больным человеком. Через год деду дали большую квартиру в «доме спецов» в самом центре Горького (улица Минина №5) и кафедру в Политехническом институте. Семья смогла переехать в этот город на Волге, где мама закончила школу и биологический факультет университета. Так, в 12 лет ей пришлось пережить расставание с друзьями детства и из южного, цветущего, театрального Киева попасть в промышленный северный город, правда, напоминающий Киев своим местоположением над рекой. Это для нее было тяжелой психологической травмой. Киев остался светлым воспоминанием и мечтой. Поэтому, закончив университет и аспирантуру, мама перед войной устроилась научным сотрудником в Киевский Ботанический сад и поселилась у сестры своего отца. Там она возобновила отношения с папиными сестрами и папой, с которым они поженились после его возвращения с фронта в августе 1945 года.

Мой папа, человек романтического склада, в юности мечтал стать астрономом, но люди его года рождения не рабоче-крестьянского происхождения были лишены права поступать в университет. Поэтому ему пришлось учиться в строительном институте и затем всю жизнь работать фактически на одной должности главного инженера проекта (следующая карьерная ступень требовала наличия партбилета, ему фронтовику и орденосцу, неоднократно предлагали вступить в партию, но он

отговаривался) в проектной организации. Множество патентов, изобретений, дипломов и грамот (были у него также орден «Знак почета» и премия Верховного Совета СССР) не имели никакого денежного выражения, мама после моего рождения не работала (этому способствовали и ее преданность семье, и инерция, и страх упоминать в анкете эмигрировавшую сестру, и запрет на генетику, которой она собиралась заниматься, — помню, как к нам в дом приходили профессора-биологи, ставшие преподавателями музыки в детском садике), так что жили мы очень скромно.

Все люди, которым я обязана своим появлением на свет и которые окружали меня в детстве, принадлежали к одному социальному слою — так называемой старой русской интеллигенции (хотя по национальности большинство из них было украинцами, на самом деле никакой разницы не было — все думали, говорили и писали на русском языке и воспитывались в русской культуре). Как среда в широком смысле, со своими функциями, культурными традициями, местом и весом в обществе, интеллигенция, снабженная большевиками эпитетами «гнилая», «хилая» (и просто гамно), после революции исчезла. Отдельные оставшиеся ее представители были разрознены, смешаны с другими слоями, лишены всякого авторитета. Интеллигенцией стали называть людей с высшим образованием, интеллектуалов, просто порядочных людей, то есть по формальному или оценочному принципу. Целый класс с определенными поведенческими, мировоззренческими и нравственными установками безвозвратно ушел с исторической сцены. Разумеется, характеристика качеств того или иного человеческого сообщества всегда носит несколько обобщенный, абстрактный и идеализированный характер. Скорее, это желательная норма, тогда как конкретным людям не чужды общечеловеческие пороки, слабости и странности. В любом слое есть свои святые и злые люди умные и недалекие, добрые и черствые, щедрые и скупые, активные и ленивые, терпимые и вздорные. Не лишены были недостатков и мои ближайшие родственники, но у всех сохранялась какая-то общая основа, которая позволяла безошибочно определять их социальную принадлежность.

Человека «старого воспитания», как говорила моя бабушка, можно было распознать сразу. Прямая спина, походка носками наружу. Не есть на улице. Вставать, когда входят женщины или старшие по возрасту. Не подавать руки в перчатке. Не снимать обувь в незнакомом доме. Не разговаривать громко в публичном месте. Проснувшись утром, не нежиться в постели. Сдержанно выражать свои чувства. В доме могла быть самая скромная обстановка, но обязательно — много книг и пианино. Дополнительно к школьному образованию нужно было учиться музыке, рисованию и иностранному языку. Конечно, любовь к природе и путешествиям, развивающим эстетическое чувство и способствующим широте взглядов.

Главное — всегда в первую очередь думать не о себе, а об окружающих, всегда оставаться собой и сохранять собственное достоинство, обо всем иметь собственное мнение, с одинаковым уважением относиться к людям любого социального слоя, быть равнодушным к материальной и физиологической стороне жизни, стремиться к труду и творчеству, помогать

ближним, любить добро и ненавидеть зло. Быть ко всем доброжелательным, не делая разницы между «своими» и «чужими». В любой ситуации думать не о своем благополучии и выгоде, а о том, чтобы остаться порядочным человеком и сохранить самоуважение, так как самое страшное – не стать жертвой зла и несправедливости, а самому повести себя недостойно. Никогда не просить за себя, чувствовать ответственность за все, что происходит вокруг тебя. Этим правилам учили с раннего детства и меня.

Средоточием киевской жизни моих родственников оказался дом маминой тетки Ольги Николаевны Фаниной (ур. Маркович), вдовы управляющего сахарными заводами князя Долгорукого. Женщина богатая, она сумела кое-что сохранить и припрятать после революции и, потеряв усадьбу под Каменец-Подольском, купила дом с садом на Тургеневской улице у одного бывшего царского генерала. В молодости, после смерти родителей, ей пришлось как старшей женщине в семье взять на себя управление хозяйством и заботу о братьях, что сформировало ее практичный и жесткий характер.

Дом, называвшийся по своему номеру «пятьдесят девятым», был одноэтажным, с небольшими низкими окнами, которые закрывались наружными деревянными ставнями (ежевечерний и ежеутренний ритуал), и дощатым крыльцом. На этом крыльце днями сидела бывшая дворничиха-пензионерка из соседнего дома Анна Григорьевна, по общему мнению, сотрудница органов, наблюдавшая за жильцами и всем происходящим на улице. На ее коленях мелкой дрожью дрожала маленькая, тонконогая и визгливая собачонка. На Тургеневской, как и на близлежащих улицах, Павловской, Полтавской, Гоголевской, Дмитриевской, расположенных между улицей Артема (бывшей Житомирской, от которой уходили спуски к Подолу) и Евбазом (еврейским базаром, ныне – площадь Победы), частные домики с небольшими садами чередовались с невысокими (в 2–4 этажа) кирпичными доходными домами. (Сейчас эти улицы застроены высокими элитными зданиями, не соответствующими ни широте улиц, ни их рельефу, кривизне, спускам и подъемам.)

В доме было пять комнат, практически все проходные. Одна из них, куда вели пять дверей, проходы на веранду и в коридор, была холодной и в принципе нежилой. В самой большой комнате с печкой-буржуйкой жила Ольга Николаевна, рядом – ее брат Константин Николаевич, за его комнатой шла кухня с печкой, там же стояли ванна и керосинки (керосином пропах весь дом). Самую маленькую комнату занимала семья моего отца, нашедшая приют у родственницы будущей невестки (после освобождения Киева от немцев их выселили из профессорского дома в Политехническом институте, так как Кобелев умер в 1942 г., а больше никто в институте не работал; большую часть мебели вывез комендант дома, пригрозив доносом). На одиннадцати метрах жили дедушка с бабушкой и тетя Оля с сыном Сашей, там же стояла дровяная плита. Узкий темный коридорчик вел к пристройке, где находились холодный туалет и две комнатухи (предназначенных для кухарки и горничной). Оттуда был выход в хозяйственный двор с дровяным сараем и будкой Бутуза (позже –

Тузика). В этих комнатах жили две абсолютно разные пожилые одинокие женщины. Толстая, рыхлая, покрытая большими темными родинками Евдокия Игнатьевна, бывшая в прошлом не то кухаркой, не то прачкой – она была невероятно чистолюбива, и от нее всегда раздавался резкий запах хозяйственного мыла. В ее комнате висела круглая баляя и рельефная тара, а на кровати возвышалась целая гора подушек разного размера в вязаных крючком кружевных наволочках, венчала все это великолепие целлулоидная кукла в белой фате. Другая старушка, Екатерина Витальевна, была из бывших (существовала легенда, или бль, о ее драматической судьбе несостоявшейся певицы, потерявшей голос), голова ее всегда была покрыта круглой сеточкой, а лицо никогда не освещалось улыбкой.

С широкой, завитой виноградом веранды можно было попасть в небольшой, но очень уютный сад, засаженный фруктовыми деревьями, кустами сирени и жасмина; вдоль вымощенных дорожек цвели пионы, чорнобривцы, тюльпаны, георгины и астры.

Характер Ольги Николаевны был соткан из противоречий. Неверующая, как и подавляющее большинство «передовой» интеллигенции начала XX века, она держала иконы и «на всякий случай» настояла на моем крещении, а потом научила меня креститься и читать «Отче наш». Властная и строгая, с барскими замашками, она напоминала героинь Н. Островского (мама так и называла ее Мурзавецкой), да и дом ее выглядел заповедником конца прошлого века – в нем всегда толпились суетливые монашки из ближайшего Покровского монастыря, помогавшие по хозяйству и часто воровавшие сахар, и прочие приживалки. Современная жизнь и всякие новшества туда не допускались – хозяйка категорически отказалась от проведения газа. Из дому бабушка Оля выходила редко и только по делам, связанных с домоуправлением, при этом обязательно облачалась (в любую погоду) в пальто, шляпу, чулки и перчатки, так как отсутствие хоть одного атрибута этой одежды считала неприличным. Вообще дом казался мрачным, в нем не хватало солнечного света и веселых молодых голосов. И это при том, что был он всегда густо населен. Ольга Николаевна считала себя истинной христианкой (христианство было для нее исключительно сводом нравственных правил) и стремилась делать добро – в разное время и одновременно у нее жили все племянники, родственники покойного мужа, знакомые и вернувшиеся после сталинских лагерей, оказавшиеся без средств и крыши над головой бывшие заключенные (у всех были посеревшие неулыбчивые лица, и никто никогда ни о чем пережитом не рассказывал). В комнатах, в том числе и в комнате хозяйки, появлялись все новые кровати, кушетки и раскладушки, отгороженные матерчатыми складными ширмами.

Эта женщина действительно сделала много добра, однако в старости (а она перевалила далеко за 80) у нее не то произошли необратимые старческие мозговые изменения, не то обострились мрачные стороны ее натуры, но стала она подозрительной и злой и стала отталкивать всех близких людей, которым некогда покровительствовала. Она разорвала отношения со всеми родственниками, заподозрив их в посягательстве на ее дом, выгнала моих дедушку и бабушку, которым пришлось переехать к

дочке (Ляле), а двум своим племянницам просто искалечила жизнь. Лидии Петровне Маркович, талантливому биологу, писавшей диссертацию в академическом институте, пришлось все бросить и вернуться в провинциальный Новозыбков, где она до конца дней, оставаясь одинокой, преподавала в местном педагогическом институте. Еще трагичнее сложилась судьба у Нины Ивановны Бреславец, племянницы Фанина, прибывшей к нашей семье после того, как в 1946 году ее пятнадцатилетний сын подорвался на случайном снаряде. Она вернулась в свой одинокий убогий домишко в провинции, где много лет проработала врачом, и, помутившись рассудком, покончила с собой. Обе женщины остались в моей памяти людьми кристально честными, бескорыстными, исключительно порядочными, и подозревать их в каких-то интригах было абсолютно нелепицей. Умерла бабушка Оля без завещания, так и не решив, кого ей стоит благодетельствовать, так что дом вместе с оставшимися на то время старухами-приживалками перешел к государству. Сейчас, через много лет, личность Ольги Николаевны вызывает у меня философские размышления о зыбкой границе между добром и злом и о легкости, с которой они порождают друг друга.

В этом доме жила моя мама, и туда вернулся к родителям с фронта мой папа. С близорукостью минус 11 диоптрий он имел «белый билет», выехал в эвакуацию в Среднюю Азию, но уже в 1942 году его мобилизовали – воевал на Курской дуге, в Карпатах, освобождал Киев (удалось на несколько дней забежать домой), 9 мая участвовал во взятии Праги (за то, что раненый не вышел из боя, получил орден Красной Звезды – по этому поводу папа смеялся: «а куда я мог выйти?»). Ему повезло – как инженера-строителя, разбиравшегося в чертежах, его взяли картографом в штаб, и, к его счастью, ему «никого не пришлось убивать». О войне он вспоминать не любил, вообще, при его ранимости, он избегал «неприятных разговоров». Рассказывал только трагикомические истории – как нашли брошенный немцами вагон с шоколадом, как на Западной Украине бандеровцы подожгли баню с советскими солдатами и оттуда выбегали голые мужики, успев захватить только самое ценное – для папы это были очки и кожаный ремень (потеря была бы невосполнима). На Западной же Украине ему удалось избежать смерти. Он вместе с другим солдатом делал съемку местности в одном селе, и ему показалось подозрительным то, с каким приторным радушием их зазывали в гости местные крестьяне, предлагая еду, выпивку и молоденьких девушек. Его спутник растаял, но папа, заподозрив неладное, приказал ему, улучив момент, поскорее сбежать огородами. И он был прав – так погибло немало наших военных. Самым тяжелым его воспоминанием был расстрел на его глазах норвежского пленного, «с которым просто не знали, что делать». Говоря об этом, он белел, как побелел и тогда, когда я по молодости лет его спросила, убил ли он хоть одного немца, – «ты что, с ума сошла?».

Первые месяцы жизни я провела в плетеной корзине за ширмой на кухне у бабушки Оли, другого жилья у родителей не было. Была возможность переехать в большую дедушкину квартиру в Горьком, но мама воспринимала этот город как место ссылки, а папа был слишком привязан к

Киеву. Впоследствии, когда дед вышел на пенсию, были попытки поменять горьковскую квартиру на киевскую, но это оказалось совершенно невозможным. Репутация городов настолько различалась, что не нашлось ни одного киевлянина, пожелавшего переехать с берегов Днепра на Волгу. Как фронтовику папе удалось все же добиться получения двух комнат в соседнем двух (с половиной) этажном кирпичном доме по Тургеневской №61, торцевая стена которого выходила в бабушкин двор. Ветки высокого пирамидального тополя, росшего во дворе Ольги Николаевны, достигали наших окон. Квартира, где мы поселились, была до революции «холостячкой». Гостиную с кафельной печкой и балконом занимала семья дочери бывшей владелицы этого дома Ксении Максимовны Василевской (сама она жила с двумя дочерьми в частном доме в нашем дворе), состоявшая из Зои Ивановны, сотрудницы академического института, Якова Григорьевича Граната, инженера (во время борьбы с космополитизмом его уволили с завода, и он устроился в какую-то контору по трудовым нормативам), и их сына Сережи (впоследствии он шутиливо называл себя единственным в мире специалистом по «древнекатиному» языку: мехме – печенье, бумапичай – пить чай с маслом, пе – перо). С Сергеем (ставшим доцентом Строительного института), который был старше меня на 9 лет, мы сохраняли хорошие отношения до самой его смерти от рака в Америке, куда он уехал к эмигрировавшему сыну. В восьмиметровом кабинете жила выжившая из ума старушка Софья Ивановна, страдавшая манией преследования, а в две смежные спальни по 10 метров вселились мы. Из маленького коридорчика вели двери в крошечный туалет и выгороженную из кухни ванную (верхняя доска в прилегающей к кухне стенке была вынута и оконце было прикрыто ситцевой занавеской). Кухня была метров шесть, и кроме четырехкомфорочной плиты в ней помещалось только три шкафчика. Холодильники стояли в комнатах, там же на дверях были прибиты изнутри вешалки для пальто и там же приходилось хранить продукты. В кухне была дверь на черную лестницу, ведущую вниз во двор и вверх на чердак. На темном, низком чердаке развешивали на веревках белье. Я очень любила из узкого окошка чердака смотреть на то, как по двору бабушки Оли бегают лохматая дворняжка.

В доме было всего шесть квартир, все коммунальные, за исключением полуподвальной, где жила в одиночестве старуха Винарская. Вид у нее был страшный – она болела базедовой болезнью, огромный зоб нависал на грудь, а огромный нос нависал на подбородок. При этом она была тихой, милой женщиной и имела двух необыкновенно красивых дочерей, которые навещали ее раз в неделю. Стройные, белолицые, румяные, с яркими глазами и губами, всегда веселые и улыбочивые, в цветастых крепдешинных платьях, они гордо вышагивали по нашей улице с белокурыми русскими мужьями-офицерами. В теплые дни старуха Винарская сидела на табуретке перед подъездом, где ее собеседницами были Софья Борисовна, обладавшая ярко-рыжими волосами и огромными, вылезающими из орбит зелеными глазами, и Анна Соломоновна с грушевидной формой лица и невероятно низким лбом, так что казалось, будто ее черные, залитые наверх волосы растут прямо от бровей. Обе дамы были весьма

объемны, и мне всегда было непонятно, как они могут умещаться на хрупких венских стульях, невидимых под их тучными ягодицами. Про себя я непочтительно называла их «жабой» и «тюленем». Все трое разговаривали на идише и с большим интересом следили за передвижениями других жильцов. Анна Соломоновна жила в квартире на нашей лестничной площадке, деля ее с интеллигентной семьей профессора Круковского. Софья Борисовна жил на первом этаже с доцентом Попковым, имевшим двух девочек-близняшек, беленькую Лену и черненькую Таню. Я очень боялась их маму Наталью, устраивающую крикливые скандалы, когда я дома затевала шумные игры, и прозвала ее «злой Варварой». Напротив них жила семья Кравец, состоящая из трех малообразованных, неприветливых, всегда мрачно одетых сестер и бывшего мужа одной из них (подвязывавшей волосы капроновым чулком), Романа Федоровича Цуканова.

Об этой личности я расскажу особо. Цуканов стал для меня именем нарицательным, так как был почти карикатурным воплощением советской власти. Объективности ради, не могу не согласиться, что по-своему он был неплохим человеком – взял к себе оставшуюся сиротой племянницу, помогал другим деревенским родственникам, добился, что от частного сада Василевских отрезали часть для общественного пользования (я там часто гуляла в детстве), а главное – ни на кого не донес в органы. Но он – яркий пример того, как агрессивная, навязчивая идеология может формировать тупых преданных фанатиков. Человек необразованный, не имеющий никакого представления о какой-либо культуре, кроме советской, он безоговорочно и буквально принимал все, что исходило сверху от обожествляемой им партии. Одевался он в соответствии с духом военного коммунизма – гимнастерка, фуражка, галифе и сапоги. Читал только «Правду» и «Блокнот агитатора», что советовал и мне, застав меня в садике с романом Вальтера Скотта или Стивенсона, авторов для него подозрительных. Роман Федорович был «общественником», говорил цитатами из газетной передовицы, пристально следили за окружающими и ненавидел всех частников. Наша непролетарская семья, разумеется, была у него на особом контроле, но он не мог не отдавать должное моему папе, «фронтовику», «орденоносцу» и «рационализатору», чей портрет висел на многих досках почета города.

Мы были первой семьей в доме, купившей телевизор (Ленинград-Т2), и соседи часто собирались к нам смотреть «интересные» передачи. Цуканов неизменно напрашивался на трансляции партийных съездов и заседаний Верховного Совета. Однажды произошел случай, смертельно напугавший моих родителей. Цуканов смотрел у нас очередное заседание, а я (мне было 7 лет) вертелась рядом, не имея ни малейшего представления о том, что происходило на экране. Когда началось голосование и после «кто за?» раздалось «кто против?», я ляпнула – «я». Побагровевший гость пришел в страшное волнение и негодование и заявил, что вынужден будет заявить на меня в школу. Побелевшим родителям понадобилось минут 30, чтобы успокоить и уговорить этого бдительного большевика. Я же совершенно не могла понять, что плохого я сделала и из-за чего скандал.

Когда мне было лет 10, старушка Софья Ивановна, почему-то возненавидевшая Зою Ивановну, обменялась комнатами с Мэней и Бэней, пожилой парой, абсолютно нетипичной для своей национальности. Для остальных жильцов они стали бесконечным многолетним кошмаром. Она – воровка, лишенная родительских прав, он – рецидивист, четырежды судимый за покушение на убийство. При нас он, много лет безрезультатно простояв в очереди на получение квартиры, пытался бритвой перерезать горло председателю райисполкома, но из тюрьмы вернулся через полгода. Его сын от первого брака, у которого была очень опасная, с точки зрения соблюдения законов, в советское время должность заведующего магазином, решил показать детям пример, как нужно выкупать родного отца из кутузки. Правда, для возмещения убытков он вывез телевизор отца, и тот по возвращении подал на него в суд. Однажды Бэня, напившись, ударил маму топором (к счастью, поскольку он был маленького роста, удар пришелся на спину), но вызванная милиция никак не отреагировала, заявив, что это наше «семейное дело» (!), что «неизвестно еще, кто начал драку», что «вот, когда вас убьют, тогда и приходите», и что «мы не намерены из-за вас ухудшать наши показатели». Супруги часто ссорились и ругались матом, Бэня любил ходить по квартире в подштанниках и петь под гитару блатные песни, а Мэня имела привычку кипятить в широкой открытой миске половые тряпки именно тогда, когда соседи приходили с работы и готовили ужин, и таскала у нас продукты. С этими людьми нам приходилось пользоваться общим унитазом и ванной. На наши заявления с просьбами отселить от нас уголовников, нам отвечали, что в нашей стране все равны, и мы ничем не лучше других. В конце концов именно они получили большую комнату в другой коммуналке, наверное, как социально близкие советской власти.

В последние годы жизни дедушка Маркович, выйдя на пенсию, переехал в нашу киевскую квартиру. Сам Борис Патон просил высокое начальство дать нам отдельную квартиру, на что получил ответ от очередного номенклатурного хама, что профессор – уже просто «дрова». Это очень возмутило Бориса Евгеньевича, и у нас дома он позволил себе высказывания, по мнению мамы, свидетельствующие о том, что «он все понимает» (однако, когда я решила поступать в Киевский университет, что без протекции было абсолютно невозможно, мама сказала: «только не проси меня идти к Патону, это я не сделаю никогда»). Близость к партийному руководству она ему простить не могла). Патон очень уважал моего дедушку и до его смерти присылал ему поздравительные новогодние открытки.

Ни мой отец, ни мой дед, переселившийся к нам после выхода на пенсию, квартиру не заслужили – у нас на четверых было слишком много метров – 20, на учет стать было невозможно (тогда норма была 4 метра на человека). К тому же, папа, папа, человек скромный и деликатный, считал, что не может просить квартиру у себя на работе, так как были сотрудники, еще жившие в подвалах. Освободившуюся маленькую восьмиметровую комнатку нам удалось с большим трудом получить лишь с помощью подруги Зои Ивановны, работавшей в Райкоме партии. Приходившая из ЖЭКа комиссия, состоявшая из «общественников», однако сомневалась,

нужно ли давать комнату «инженеру», а не какому-нибудь рабочему. Так я получила свое первое собственное жилище и была невероятно счастлива. В 1975 году наш дом, как и дом бабушки Оли, расселили как идущие под снос (на их месте построили уродливую коробку телефонной подстанции). Вообще на Тургеневской улице осталось мало старых домов моего детства, но огромные липы, клены и тополя сохранились. Нас переселили в новый панельный дом на самом краю Киева, на площади Т. Шевченко, у Пуца-Водицкого леса, на конечной остановке 18-го троллейбуса. Получили мы двухкомнатную квартиру с кривыми стенами и линолеумными полами, ежедневно покрывавшимися цементной пылью от нижних плит. Но мы были рады и этому, ведь это была первая отдельная квартира моих родителей после войны.

Из колоритной публики, жившей на Тургеневской, не могу не упомянуть двух портных, услугами которых мы время от времени пользовались. Изя Инзель, женатый на «рыжей Лене», умер рано, оставив семью в относительной бедности. Его вдова жаловалась моей маме на свою старуху-мать, которая, «когда Изя был жив и у нас на столе каждый день была курочка, не закрывала рота, а когда Изя умер и у нас овощной суп, она сидит, как статуя, и молчит». Портной Шехтман, работавший в ближайшем ателье, имел у нас прозвище «вовторник» – на вопрос «когда прийти на примерку?» он говорил «у нас сегодня вовторник, придете в пятницу». Однажды папа перелицовывал у него костюм и при последней примерке обнаружил, что один рукав пиджака не черный, а синий. Шехтман и его помощник долго уговаривали папу, что он ошибается, и в конце концов с раздражением воскликнули: «но мы же смогли уговорить другого клиента, что у него рукав синий!». А когда папа не написал на него жалобу за сожженные брюки, он воскликнул – «есть на свете хороших людей!».

Негативные воспоминания детства связаны у меня не только с Бэней и Мэней, но и с еще одним представителем черни, к сожалению, попавшем в нашу семью. Мамин двоюродный брат Борис довольно рано остался сиротой (его родители-врачи погибли во время эпидемии) и воспитывался теткой Ольгой Николаевной, по-видимому, не то не обладавшей педагогическими способностями, не то не сумевшей дать ему должное развитие и культуру, не то им не занимавшейся. Человек не подлый и не злобный, был он очень слабохарактерным и недалеким, не обладал никакими гуманитарными интересами, почти ничего не читал и вкусы имел самые примитивные. Его основными увлечениями в молодости были футбол (он был членом киевской футбольной команды, и от немецкого расстрела его спас только призыв на фронт) и девушки, чем проще, тем лучше. Женился он все же на милой и приличной Гесе, имевшей среднее музыкальное образование. Но с фронта вернулся не к ней, а в «пятьдесят девятый» дом к тетке, привезя с собой беременную от него Оксану, замужнюю женщину старше его с двумя сыновьями. Сошлись они в военном госпитале, где он лежал после ранения, а она работала в столовой. Увидев эту особу, все родственники пришли в полный ужас и умоляли Бориса отпустить ее к мужу, который вскоре вернулся с фронта и готов был забрать ее вместе с прижитым ребенком. Но Оксана категорически заявила, что полюбила

«Борыса» и останется с ним, и с этой минуты мамин брат был потерян для семьи, оказавшись целиком под каблуком у этой женщины.

Оксана родилась в бедной многодетной семье (мать родила ее в 56 лет), закончила несколько классов школы, в ранней юности, будучи весьма свободного поведения, была выдана замуж (все сведения от первого мужа тети Ляли, который жил с ней на одной улице Татарской). Внешность Оксаны производила неизгладимое впечатление на сантехников, милиционеров и сапожников (в эту компанию затесался и наш выродившийся дворянин). Приземистая, с квадратными плечами, узкими выдающимися назад бедрами, огромным бюстом, лежащим на круглом животе, с короткими ногами в форме «бутылочки» и с перекисными завитыми волосами. На круглом выбеленном лице – курносый нос, выщипанные брови ниточкой, маленькие, очень злые глаза и такой же злой узкий рот. Обычно недоброе и подозрительное выражение лица сменялось игривой улыбочкой при виде «мужчин». Любимым жестом было перекатывание груди из стороны в сторону, и каждые два слова она повторяла «я говорю». Отличительными ее чертами были недоброежелательность, зависть, хамство, истеричность, крикливость, подлость по мере возможности, трепетное отношение к деньгам и какая-то подкорковая ненависть и презрение к интеллигенции. Быстро разобравшись, в какую семью попала, она тут же поставила всех на место: задрала юбку и показала опешившим старушкам, бабушкам Оле, Вере и Мусе, чего они стоят по сравнению с ней. Обладая нулевой культурой и пещерным воспитанием, была она чудовищно самоуверенна. Все люди делились для нее на «таких, как я» (Бог знает, что она имела в виду, хотя к таковым относились только ее дети), и остальных, заведомо ниже и хуже, так как не имели счастья состоять с ней в близком родстве. Одно время мы жили вместе на Тургеневской, когда у нее и у мамы были грудные дети. У мамы не было молока, а шел голодный 1946 год, с искусственным детским питанием было худо. У Оксаны же молока было в избытке, и она, к ужасу районного педиатра, демонстративно сцеживала его в раковину. Сколько я ее знала, ей никогда и в голову не приходило, что для «чужих» можно «даром» что-нибудь делать, хотя она всегда всех окружающих считала ей обязанными и пользовалась их бескорыстными услугами, еще и подсмеиваясь над их глупостью и уж, конечно, не чувствуя никакой благодарности. В детстве, когда я иногда гуляла с ней и ее дочерьми, она покупала им мороженое или пирожные, а я шла рядом, глотая слюни. Когда мама просила Бориса поехать с ней на могилу к дедушке, она требовала, чтобы мама платила за его билет на трамвай, так как это «ее отец». Никем ничему не обученная, она и хозяйкой была никчемной, не умела толком делать никакую женскую работу, зато следила за чистотой кастрюль и полов (таковая была для нее мерилom достойной женщины). Детей воспитывала диким криком и подзатыльниками, мужа ревновала ко всем подряд, устраивая непристойные скандалы с распусканием рук. Это был законченный социальный типаж «черни», живущей животными инстинктами, и ее появление в такой семье, как наша, имело для меня символический смысл, как будто судьба в

гротескной форме решила продемонстрировать новую социальную и культурную реальность.

Писать о родителях трудно, слишком близкое расстояние, слишком велика привязанность, но все же, насколько это возможно, постараюсь быть объективной. Моего отца мама называла «последним интеллигентом города Киева», и это было не слишком большим преувеличением - во время наших путешествий в приграничных городах его нередко останавливали для проверки документов – уж очень его внешность не соответствовала облику типичного советского человека. Высокий, тонкокостный, с изящными кистями рук и ступнями, с небольшой головой, смуглый, с правильными чертами лица и яркими близорукими глазами. Был он очень трудолюбив, но во всем, что не имело отношения к работе и путешествиям, был чрезвычайно инертен. (Когда мне было лет 12, ему предложили работу в Индии, но он отказался. А это могло бы определить мою судьбу – я бы наверняка увлеклась этой потрясающей страной и стала индологом. Кстати, приблизительно в это же время отец моего мужа имел возможность получить на два года высокую должность в ЮНЕСКО, и тоже отказался. Подозреваю, что основной причиной был подкорковый страх перед всякими контактами с иностранцами, что в Советском Союзе могло иметь очень тяжелые последствия.) Его жизнь подчинялась раз и навсегда заведенному порядку: утром пешком в свой проектный институт, вечером – обед, час отдыха на диване, а потом снова работа за большой чертежной доской. На ночь обязательно читал и хотя бы раз в неделю садился за пианино. В выходные дни мы втроем гуляли по Киеву, выискивая самые отдаленные его уголки, ездили на Днепр, в лес. Весну, как он говорил, «проходили» полностью – сначала лиловые, покрытые пушком сны, потом черемуха, фиалки, сирень, ландыши, летом – земляника, осенью - грибы белые, рыжики, маслята, опята. Еще зимой он доставал географические карты и в особой тетрадке скрупулезно вычерчивал маршрут нашей летней поездки. В середине 50-х у нас появилась машина Москвич-402 (бежевого цвета, уч 79-00), купленная с помощью дедушки Яши, на которой мы за 20 лет объездили, и не по одному разу, Крым, Кавказ, Карпаты, Прибалтику, Центральную Россию и Украину. Из отпуска не терялось ни одного часа – уезжали вечером в пятницу, возвращались поздно вечером в воскресенье. До сих пор я испытываю дисконфорт, если хоть один день из отпуска нахожусь дома. Эти путешествия для папы, да и для меня, значили очень много, у него было унаследованное мною романтическое отношение к миру. На целый месяц можно было расстаться с серой повседневностью, ее подневольным однообразием, с привычными улицами, лицами и занятиями, и отправиться в ДОРОГУ, где каждую минуту – новый пейзаж, новые краски, случайности и приключения и где столько прекрасного – рассветы и закаты, море, степи, миражи, горы, ледники, старинные города, церкви, горные реки и пр., и пр., а главное, ощущение простора и свободы. Жизнь расширяла горизонты, приобретала новое измерение, новый масштаб и новый смысл.

Характер у папы был очень непростой, человек застенчивый, замкнутый, обращенный в себя, что во многом было обусловлено его внутренней

ранимостью, он как будто стремился отгородиться от весьма несовершенного окружающего мира, вычленив из него самое лучшее – природу, музыку, творческую работу – и абстрагировавшись от темной, уродливой его стороны. Он категорически отказывался слушать и говорить о «неприятных вещах», в которые входили и все бытовые проблемы – безденежье, болезни, жилищные условия, и не любил, когда от него требовали каких-то действий, нарушающих его безмятежность. По сути, не желая замечать, что мир изменился, он копировал образ жизни своих предков, когда от отцов семейств требовалось ходить на службу и приносить жалование, а уж дальше жена заботилась о хозяйстве, прислуге и детях. Скорее всего, наша жизнь была некой пародией на дореволюционную – в безденежье, в коммуналке, без возможности «достать» приличную одежду, и все же с домработницей, с уроками английского и музыки для меня, с «фребеличками», которые гуляли со мной в ближайшем Павловском садике.

Очевидно, что для семьи папа был человеком тяжелым, и все ложилось на плечи моей неработающей и целиком от него зависящей мамы. Меня, как говорила мама, он любил «по-своему»: был категорически против «баловства», никогда не ласкал, никогда ничего не покупал и не дарил, считая, что привычка к лишениям пригодится мне в будущей жизни. Для меня же его отношение было непрекращающейся обидой и, думаю, не лучшим образом сказалось на моей самооценке и характере. Удивительно, но до сих пор меня жгут воспоминания детства. Я совсем маленькая, папа везет меня с прогулки домой на санках, я вываливаюсь в снег прямо на проезжей части, он этого не замечает. Из мечтательной отрешенности его выводят крики прохожих. Мне четыре года, мы с ним идем по горной тропинке в Крыму через колючий кустарник – он в брюках, и ему кустарник достигает до колен, а мне он дерет все тело и лицо; я плачу и прошу взять меня на руки, но он даже не поворачивает головы. Опять же мне четыре года, мы с мамой на даче в Боярке, в субботу вечером пришли встречать его к электричке; из вагона перед ним выходит мужчина, и к нему бросаются его маленькие дочки – он их поднимает на руки, целует и дарит каждой по конфете. Я поражена, я не знала, что такое возможно – бросаюсь к своему папе с вопросом «а ты мне что привез?», и получаю в ответ равнодушное «отстань». Учась в школе, я с ужасом ожидала новогодних праздников, 8 марта и дня рождения, потому что не знала, что отвечать подругам, которые всегда спрашивали, что мне подарил папа. Мной он был постоянно недоволен – ему и в голову не приходило воспринимать меня как личность и вникать в мою подростковую психологию. Я не оправдывала его ожиданий, не росла мягкой и почтительной девочкой, и он бы очень удивился, если бы кто-нибудь сказал ему, что замкнутость, упрямство, болезненную застенчивость, и некоммуникабельность (вместе с трудолюбием и романтичностью) я унаследовала от него.

Особенности папиного характера ярко проявились во время маминой болезни. Вопреки очевидности, он уверял, что от ее диагноза не умирают, и просил меня не говорить ему обратное, так как это его расстраивает. При этом преданно за ней ухаживал, конечно, неумело, поскольку был ею избалован и ничего не смыслил в домашнем хозяйстве. Мамину смерть он

пережил тяжело, много плакал и стал намного мягче и терпимее по отношению ко мне, наверное, поняв, что кроме меня у него никого на свете нет. Я уже жила в Москве, он остался совершенно один, но ко мне переехать отказывался, так как все еще работал и видел в этом смысл жизни. Когда тяжело заболел, переезжать было уже поздно, сгорел он быстро, я была с ним последний месяц. Себе остался верен до конца – за час до кончины уверял врача скорой помощи, что лечение идет нормально, мучают же только побочные действия. Умер с виноватым выражением лица – ему не удалось отогнать смерть, делая вид, что ее не существует.

В тот момент, когда умерла мама, остановились старинные настенные часы, а у меня появилось чувство, что ее душа, вместе с болезнью, вошла в меня (это было правдой – как оказалось, у меня был тот же врожденный диагноз). Я физически ощутила, что теперь мои ноги, руки, лицо не совсем мои, а и ее тоже. С мамой у меня с раннего детства было очень тесная внутренняя связь. И даже после ее ухода мне казалось, что она помогает мне оттуда. Однажды, когда я была на грани того, чтобы сделать непоправимую глупость, она пришла ко мне во сне и, пристально глядя мне в глаза, погрозила пальцем – я поняла. Когда мне было лет 50, опять же во сне она сказала, что больше не может меня поддерживать и я должна теперь со всем справляться сама. Разумеется, это был единственный человек в моей жизни, который меня по-настоящему любил, и, как и все неблагодарные дети, я воспринимала материнскую любовь, как нечто само собой разумеющееся, о чем теперь горько сожалею. Особенно тяжелыми для нее были последние три года, прожитые в разлуке со мной, а я, погружившаяся в московскую жизнь, мужа, диссертацию, приезжала, хоть и часто, но на короткое время, да еще и бегала по городу и к подругам.

Мама была настолько растворена в семье, живя папиной и моей жизнью, что я теперь просто не могу вспомнить, какие у нее были вкусы, желания и интересы, да и были ли. Красавицей она не была, но считалась интересной женщиной – высокая, с прекрасной фигурой, густой косой, милым, открытым лицом. Некоторые считали, что в ней не хватает «изюминки», то есть сексапильности и кокетства, что вытекало из таких губительных, с обывательской точки зрения, для женской привлекательности черт, как открытость, прямолинейность, прекраснодушие и отсутствие хитрости (то бишь стержвости).

Если допустить, что человечество состоит из какого-то процента злодеев, незначительного количества праведников и основной массы людей, сочетающих в себе добро и зло, человеческие слабости и пороки, то мама, несомненно, была близка к праведникам. Она творила добро и не творила зла не потому, что подавляла в себе дурные побуждения или, в силу воспитания и убеждений, считала их неприемлемыми, а потому, что в ней зла просто не было. Ей не нужно было «выбирать», как многим другим. Кто знает, было ли это следствием многих поколений культурных предков, стоящих за ее плечами, или генетическая мутация, или квинтэссенция интеллигентности. Но я очень надеюсь, что такие люди не случайность, что эволюция человека идет в сторону уменьшения инстинктивного хищнического начала, а продолжающееся становление *homo sapiens* как вида –

это выделение из природы, не знающей морали и руководствующейся только целесообразностью, и культивирование истинно человеческих черт.

Таким людям, как мама, никогда не было легко жить, поскольку они, как и все остальные, меряют окружающих своими мерками и, стало быть, думают о людях только хорошо, ожидая от них ответного благородства. Мама была открыта всему миру, готова была всех любить, не деля людей на «своих» и «чужих», была очень привязчива и переживала, когда кто-то выпадал из круга ее общения. Наверное, отношение к любому, как к близкому родственнику, и есть подлинная интеллигентность и подлинное христианство, так и не усвоенное большинством за две тысячи лет. Неблагодарность и подлость причиняли маме настоящие страдания, не вызывая у нее никаких мстительных чувств. Во-первых, она переживала за «павшего» человека, способного на зло, а, во-вторых, для нее была невыносима необходимость думать о людях плохо и их не любить. Она всегда жалела таких людей, так как на их месте испытывала бы страшные муки от сознания своей непорядочности. Мама всех прощала, не видя, что ее доброту принимают за слабость или глупость и замышляют новую гадость, которую так приятно делать безнаказанно. Не было в маме и ни капли зависти, она всегда радовалась чужому счастью, желая его даже самым недостойным.

Мамина судьба наводит на размышления о вечной динамичной двойственности мира. Преданность семье, альтруизм, доброжелательная готовность всегда соглашаться с чужой точкой зрения, жертвенность, не всегда адекватное восприятие реальности во многом стали причиной ее социальной и творческой нереализованности, а ее прямота вызывала неприязнь некоторых людей. Были такие, кто ее искренне любил и уважал, были такие, кто не без иронии называл ее «святой» и пользовался ее простодушием, были такие, кто относился к ней с неприязнью и раздражением. Житейски практичному обывателю свойственны недоверчивость и подозрительность, в доброжелательности он часто усматривает тайный умысел и корыстную неискренность. Кроме того, как это ни парадоксально, люди вообще сторонятся добра и всегда, прямо или косвенно (хотя бы своим невмешательством) становятся на сторону зла. Причины разного рода здесь много, но на поверхности лежат факторы чисто биологические, присущие любой животной популяции. Агрессия, неразборчивость в средствах, следование базовым инстинктам, стремление к доминированию свойственны особям витальным, способным обеспечить выживаемость стада, продолжить род, защитить от внешней опасности. Находиться на их стороне безопасно и выгодно, стать же на сторону слабого, сомневающегося чревато неприятностями и риском оказаться изгоем. К тому же праведные люди выбиваются из общей массы, служа неким неприятным укором, так как нарушают негласный договор, согласно которому все как бы признают нравственные нормы, но относят их к определенным абстракциям, оторванным от реальной жизни и необязательным к исполнению. Плохую службу сослужила маме и ее прямота – она настолько любила правду, что не могла представить, что она может

кого-нибудь оскорбить, и тем более не могла понять, как можно СОЗНАТЕЛЬНО поступать плохо – она считала зло и ложь всего лишь заблуждением.

Когда мне было пять лет, я чуть не осиротела. Неожиданно мама слегла с высокой температурой, участковый врач поставил диагноз «ангина» и прописал какие-то микстуры. Однако ей становилось все хуже, жар не спадал, тело покрылось красной сыпью, начался бред. Беспомощный папа не знал, что делать, «скорая» уточнила диагноз (септическая ангина) и в больницу не забрала. Спасла маму тетка Ольга Николаевна – посмотрев на нее, она поняла, что дело плохо, и срочно вызвала врача Букреева, который не смог поставить диагноз, но сказал, что спасти может только новое лекарство – появившийся тогда пенициллин. Была призвана соседка-медсестра, просидевшая у маминой кровати всю ночь, делая каждые три часа уколы. Мама пошла на поправку, но у нее выпала половина волос и лоскутами слезла вся кожа. Скорее всего, по мнению Букреева, это была скарлатина, очень тяжело переносимая в зрелом возрасте.

Мама умерла в 62 года, у нее был неизлечимый врожденный поликистоз почек, который генетически передался и мне. Скорее всего, им страдала и бабушка, умершая в 61, хотя в то время ей не поставили такого диагноза. Лечения не было никакого, в больницу, где могли бы временно облегчить страдания, ее не клали. В то время (это были 70-е годы) существовал негласный приказ не госпитализировать хроников пенсионного возраста и не выписывать лекарств, не наличествующие в районной аптеке. Чтобы поместить маму, отекающую, тяжело дышащую и еле передвигающуюся, в больницу, мне пришлось с помощью знакомого врача разыграть целый спектакль – по легенде маму подобрала на улице скорая помощь.

Мама очень тосковала из-за разлуки со мной. Мой отъезд фактически лишил ее смысла жизни. Писали мы друг другу каждый день, так как у родителей в Киеве не было телефона. Я хотела забрать ее к себе в Москву, но в то время мы с мужем снимали однокомнатную квартиру, из которой должны были вот-вот переехать в постоянную, чего мама не дождалась. Этого мама не дождалась. Не желающий видеть правду папа вызвал меня слишком поздно, за сутки до маминой смерти, и мы уже не смогли хорошо поговорить, ей было слишком плохо.

Я не знаю, получила ли я правильное воспитание, и не мне об этом судить. Мама воспитывала меня так же, как воспитывали ее, без поправок на новые времена. Обязательный круг чтения: в библиотеке, частично сохранившейся от старой жизни и постоянно пополняемой папой, вся русская и мировая классика (до сиз пор Шекспира, Толстого, Тургенева и Салтыкова-Щедрина я читаю только в дореволюционных изданиях, а шекспировские переводы Пастернака воспринять вообще не в состоянии), а в дополнение к ней – романы Чарской и другие сочинения о жизни гимназисток и институток, хотя были и обязательные чапаевы и павки корчагины, как правило, подаренные одноклассниками на день рождения. Так что в раннем детстве в моем лексиконе были архаичные «классные дамы», «дортюары», «пелерины», «митенки» и «журфиксы». Мы с мамой ходили на все спектакли Киевской оперы, а, когда на зимние каникулы по дороге

к бабушке в Горький останавливались в Москве у маминой подруги, обязательно смотрели спектакли в Большом и Малом театрах. Мама сама научила меня нотной грамоте, основам рисунка, читала со мной «Легенды и мифы Древней Греции» Куна. Папа же снабжал меня разными «занимательными геометриями и алгебрами» и повесил над моей кроватью карту двух полушарий, по которой мы с мамой путешествовали, вооружившись указкой.

Родители были атеистами, но при этом, соблюдая традицию, на Пасху и Рождество готовили все положенные блюда. В доме после всех катаклизмов осталась только одна Библия в картинах Гюстава Доре, а также сочинение Ренана «Земная жизнь Иисуса Христа». Однако получилось так, что, еще не научившись читать, я уже наизусть знала многие фрагменты из Священного Писания. Когда по вечерам родители уходили в гости или театр, наша домработница Варвара Севериновна, чтобы развлечь меня, вытаскивала Доре и, показывая картинки, рассказывала соответствующие им сюжеты.

Варвара Севериновна была любопытной старушкой с «непростой» судьбой. Оставшись в детстве сиротой, она одно время воспитывалась в семье своего дальнего родственника, академика Заболотного, несколько лет училась в гимназии (где и приобрела такие богословские знания), а потом, поддавшись народническому веянию, вышла замуж за простого крестьянина, переехала в деревню, родила несколько детей и совершенно опростилась. Во время Первой мировой войны она «оступилась» - бежала, бросив семью, с молодым австрийским солдатом. Вскоре он ее бросил, но муж и дети ее обратно не приняли, и с тех пор она скиталась прислужкой по «добрым людям». Дети и внуки никогда не звали ее к себе, и всех их она пережила. Была она маленькой, сухонькой, очень подвижной и бегала так быстро, что со спины ее принимали за девушку. У нас она прожила несколько лет, спала за ширмой в доме у маминой тетки. С ней и мамой мы в период дефицита добывали продукты – сначала в очередь становилась она, а потом подходили мы, так как на троих можно было купить второе больше. Потом, когда я выросла, Варвара Севериновна перешла на работу к маминой московской подруге.

Вспоминая эволюцию своего мировосприятия в детском возрасте, я все больше убеждаюсь, что человек в процессе взросления последовательно проходит многие стадии культурного развития всего человечества. Был у меня «пещерный» период, когда я обожала городить на диване «халабуды» из стульев и одеял и прятаться там от окружающих, и «номадический» период – я каждую ночь хотела спать в новом месте, на полу, на стульях, в кресле. Потом я склонялась к патриархальности и пасторали, мечтая о доме с садом и куче детей. Я никак не могла выбрать им имена и решила эту проблему очень просто и логично – у меня будет столько детей, сколько существует имен (при этом всегда видела себя, в крайнем случае, 23-летней). Прошла я и через язычество – когда мама сказала мне, что Бога нет, я очень расстроилась, так как испытывала в нем внутреннюю потребность, а потом решила, что в таком случае придумала его сама, и

сделала себе идола из матерчатых лоскутков. Ему я рассказывала обо всех своих переживаниях и надеялась на его любовь и защиту.

Мое стремление к уюту и домостроительству иногда приобретало причудливые формы – я стала считать своим домом весь земной шар. Перед сном я мысленно путешествовала по миру, представляя в мельчайших деталях каждый его уголок и ничего не опасаясь, так как была уверена, что моя любовь к растениям и животным может вызвать только ответную любовь. Я плавала по океанам, бродила по джунглям, переходила на верблюдах пустыни, играла со львами и тиграми. Для меня не существовало опасностей и границ, как не существовало и временных ограничений. Античные боги, средневековые рыцари, Робин Гуд и диккенсовские герои для меня существовали одновременно. Когда мы с подругой в шестилетнем возрасте решили бежать в Англию (для этого, тайком от мамы, прятали кусочки хлеба), то бежали именно к Айвенго.

Одевали меня странно. Найти приличную и красивую одежду было чрезвычайно трудно, и мама инспектировала оставшиеся от бабушки шляпные коробки и сундуки Ольги Николаевны, откуда извлекались, а затем перешивались, старые платья и юбки. Находились там и ветхие отрезы, и куски шелка, чесучи и бархата, и кружева, и бисерные и стеклярусные украшения. Из зимнего пальто покойного теткинго мужа была сшита вся зимняя одежда моих родителей: из суконного верха и каракулевого воротника – пальто папе, а из беличьего низа – шуба маме. В них они ходили лет пятнадцать. Мне же из остатков прежней роскоши досталось шерстяное платье винного цвета, украшенное брюссельскими кружевами, и зеленая бархатная жилетка. В волосы мне заплетали красивые шелковые ленты, а на шею иногда повязывали «бархотки». В таком виде, несколько выделяющем меня из «уличных» детей, я выходила с мамой на прогулку.

Наша улица, находящаяся в пяти остановках троллейбуса от Крещатика, до революции была заселена владельцами частных усадеб и жителями доходных кирпичных домов, среди которых в основном были инженеры, преподаватели, профессора, генералы, врачи и прочие «приличные» люди. Потом, когда все квартиры были превращены в коммунальные, там появились переехавшие из деревни крестьяне, рабочие и ремесленники, переселенные из убогих лачуг, окружавших близлежащий «Еврейский базар». Я часто ловила на себе недоброжелательные и презрительные взгляды босоногих и чумазых детей, игравших возле своих подъездов, и, конечно, их побаивалась. Особенно отпрысков жившей в большом доме напротив алкоголички, единственной одеждой которых летом были материнские застиранные трикотажные трико неопределенного голубого цвета. Меня беспокоила злорада, с которой на меня смотрела моя сверстница Надька, и мне очень хотелось наладить с ней отношения, показав свое дружелюбие. Как-то, когда мама ушла за продуктами и оставила меня дома одну, я разделась до трусов, сняла туфли, распустила по плечам косу и в таком виде вышла из подъезда (к ужасу Анны Соломоновны и Софьи Борисовны, вытаращивших на меня удивленные глаза). Надька тут же перебежала на нашу сторону улицы, но вместо того, чтобы пригласить

меня играть, спросила, не хочу ли я «получить по морде». К счастью, тут же прибежала моя перепуганная мама, и мое «хождение в народ» закончилось.

С четырех до семи лет я ходила днем в Павловский садик к «фребеличке» (мало кто теперь знает о существовавших почти сто лет курсах Фребеля, которые выпускали барышень-воспитательниц), старушке-настоящей француженке Калерии Игнатьевне, когда-то попавшей в Россию в качестве гувернантки. В ее задачу входило гулять несколько часов с небольшой группой детей и разговаривать с ними по-французски. В группу, кроме меня, ходили Ира Ермакова, дочка живших в соседнем доме знакомых моих родителей, Наташа Бергер, Лена Сладковская и Вова (Вушик) Франковский, дети из «моего» круга. С Ирой и Наташей мы потом учились в одном классе (Наташа теперь доцент Дорожного института, пошла по стопам отца), Ленин отец стал крупным чиновником в союзном правительстве, и она переехала в Москву, у Вушика, профессорского внука, был абсолютный слух, и мама собиралась сделать из него скрипача и дирижера, но он взбунтовался и поступил в Политехнический.

Уже учась в школе, я, Ира, Наташа и присоединившаяся к нам Нина Батуевич (впоследствии закончила медицинский институт) стали брать уроки английского языка у вдовы академика-химика Яворского, Ольги Александровны, величественной грузной дамы, до пенсии служившей директором средней школы. Уроки Яворской я любила, хотя она заставляла нас зубрить глаголы, но часто устраивала ролевые игры, разыгрывала шарады и на Новый год собирала детей с родителями на «английский вечер».

Была Ольга Александровна из семьи евреев-эмигрантов, которые, когда ей было 15 лет, вернулись из Америки в Россию (об этом она написала мемуары, которые иногда зачитывала нам на уроках). У нее была огромная квартира на Рейтерской улице, составленная из двух смежных квартир. Мы приходили к ней к четырем часам и часто встречали жившую неподалеку и спешащую на репетицию молоденькую Аду Роговцеву в синем подпоясанном пальто и красной вязаной шапочке с помпоном на длинной кисточке. Ольга Александровна относилась к тому амбициозному типу людей, которые при любой власти стремятся к высокому социальному статусу, для чего настойчиво демонстрируют свою лояльность и скрупулезно соблюдают «правила игры». В случае Яворской такое поведение обернулось трагедией для ее близких и полным поражением. Жена академика и член партии, она, употребив все свои связи, добилась того, что ее единственного сына послали на стажировку в Оксфорд. Разумеется, в сталинские времена по возвращении его тут же арестовали, и он погиб в лагерях, оставив вдову и дочку Леночку. Судьба Леночки сложилась тоже малоудачно: она закончила театральный институт, но дальше зайчиков на новогодних утренниках не пошла. Вышла замуж за артиста драматического театра им. Франка, Гонтаря, намного ее старше, потом развелась, оставшись с маленьким сыном Волькой. Чтобы прокормиться, в зрелом возрасте поступила в Политехнический, где и работала до конца своих дней научным сотрудником. Все свои надежды Ольга Александровна стала возлагать на правнука, из которого опять же стремилась

сделать лояльного советского человека, идущего в ногу со временем. Помню, когда в школах ввели «производственное обучение» и все родители плевались, относясь к этому с возмущением и иронией, она наняла Вольке репетитора по слесарному делу, чтобы он смог превзойти сверстников. Закончилось все это крайне печально – Волька совершенно отбилась от рук, стал алкоголиком и наркоманом, подворовывавшим из вокзальных камер хранения, и умер молодым.

Музыке меня начала учить мама, у нас было кабинетное учебное пианино (с тугими клавишами) фирмы Уиндержишек, подаренное папе прадедом, и целый шкаф нот. Потом ненадолго появилась «музычиха», но она могла меня только научить бойко барабанить по клавишам, и мама пригласила преподавателя с консерваторским образованием, маленькую, приятную еврейку с грустными глазами. На первом уроке я продемонстрировала ей свои достижения и увидела на ее лице выражение глубокой тоски, в котором читалась ее судьба – здесь были разрушенные мечты молодости и боль от необходимости ходить по урокам и учить бездарных дурех. Она вздохнула и предложила мне разучить фугу Баха – и мы начали долгий путь, такт за тактом, нота за нотой. Я стала понимать, как важны длительность звука, точно выдержанная пауза, сила удара, вовремя снятая педаль. Готовясь к следующему уроку, я провела за пианино несколько часов и была по-настоящему счастлива, когда увидела в глазах моей учительницы удивление и улыбку. Музыканта из меня, конечно, не вышло, но понимание музыки и любовь к ней сохранились на всю жизнь. Увлечение игрой на пианино длилось несколько лет, я самостоятельно разучивала пьесы, играя по несколько часов в день (когда соседи были на работе), и у меня хватало наглости покуситься даже на технически сложные этюды Рахманинова и на сонаты Бетховена. После школы я каждый год покупала абонементы в филармонию (фортепианная и симфоническая музыка), прослушала всех наших великих музыкантов, а вообще старалась попасть на концерт хотя бы раз в неделю, приобретая входной билет за один рубль.

Уроки рисования мне давала мама, научив меня перспективе, смешивать краски, накладывать тени, штриховать карандашом, наносить контур, пользоваться акварелью и пастелью. Любимым моим занятием было срисовывание картин в двух киевских музеях западного и русского искусства, правда, приходилось это делать цветными карандашами. При каждом выезде на природу, в любую погоду, я брала с собой бумагу и акварельные краски и рисовала пейзажи. Все, на что я смотрела, я уже воспринимала как картину, мысленно ограниченную рамкой. Дома же занималась натюрмортами и мучила близких, требуя, чтобы они мне позировали. Портреты у меня получались очень похожими, не давался только собственный – через зеркало. Рисование долгое время, как и музыка, оставалось настоящей страстью, я бросалась к краскам днем, вечером и ранним утром. Упорства и целеустремленности мне было не занимать, но природных талантов было явно недостаточно, чтобы стать профессионалом, а не дилетантом. Несмотря на свою внешнюю робость и замкнутость, я была очень увлекающейся девочкой. Были периоды, когда я просыпалась в

шесть утра, чтобы до восьми сделать уроки и освободить время после школы для любимых занятий.

Это же относилось и к поэзии. Стихов я писала много, но, за небольшим исключением, все подражательные, причем, всем подряд. В десять лет я могла сочинять такие строчки (даже от мужского лица): «Ушла судьба, зачем гоненья я должен от коварной снести, / В тревожном, горестном терпенье мне суждено свой век провести. / Прошли мечты, прошли надежды, Осталась лишь одна тоска, / Печали темные одежды, Да и надгробная доска». Были и такие: «В зеленых сумерках апреля зажглась вечерняя звезда, моя весенняя беда, нелепость мыслей, как с похмелья». Но лучше всего получались стихи юмористические, которые я могла по разным поводам сочинять целые километры. Писала я и в классную настенную газету (я же занималась ее художественным оформлением), помню такое: «Шварцман староста отличный и товарищ неплохой, мальчик он вполне приличный, с Новым годом, дорогой!»

Меня всегда тянуло к гуманитарным наукам, хотя мне давались все предметы, особенно математика. Физику и химию я не любила, они мне казались слишком прикладными (позже, прочитав учебник Ландау-Лифшица, я изменила свое мнение), а математика казалась мне несерьезной, я воспринимала ее, как игру. Меня всегда интересовали «вечные», глобальные проблемы – жизнь, смерть, человек, искусство, время, пространство, философия, история (но не ее факты, которые в большом количестве вживали нам в головы, а закономерности процесса). Читала я запоем, проглатывала находившиеся дома собрания сочинений от первого до последнего тома, пользовалась школьной библиотекой. Особенно любила старинные прадедовские книги, издания прошлого века Тургенева, Пушкина, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Шекспира, Историю искусств, альбомы с видами Рима, подшивки «Нивы». Обожала Гоголя, Чехова, Диккенса, Гончарова, Марка Твена, О. Генри и Паустовского, импонировавшего мне романтическим настроением и страстью к путешествиям. Из западной литературы больше любила английскую и американскую, чем немецкую и французскую. Воспитанная на русской классике и викторианской культуре, к Серебряному веку относилась равнодушно, хотя Блок был в числе моих самых любимых поэтов, его я запомнила лучше всех. Авангард и модернистов до сих пор могу читать только как профессионал. Потом было увлечение Ильфом и Петровым, Ганзелкой и Зигмундом, Хейердалом, Дарреллом, и настоящее потрясение – Булгаков с его «Мастером и Маргаритой». Каждый писатель был прорывом в иные миры, свидетельством и возможностью существования отличной от повседневности жизни, насыщенной приключениями, яркими чувствами и мыслями.

Интересны некоторые особенности детского мировосприятия. Я была потрясена, когда узнала, что все люди неизбежно умрут, но тут же себя успокоила, рассудив, что умирает МОЕ тело, то есть Я, а я не могу поступить против собственной воли – не захочу и не умру.

Я почему-то была уверена, что каждая человеческая жизнь состоит из всего, о чем написано в книгах, поэтому в моей жизни я буду нищей и королевой, рабыней и путешественницей, балериной и певицей,

крестьянкой и ученой, то есть проживу все мыслимые судьбы. И мне было невыносимо представить, что где-то на земле может существовать хоть один клаттик земли, хоть одна травинка, хоть одна деревня, где я не бываю.

Религия была для меня сугубо эстетическим явлением. Мне нравилась таинственная, отрешенная от реальности церковная атмосфера, церковное пение, запах ладана, свет свечей, лики на иконах. Особенно запомнились мне страстные четверги, когда из Покровского монастыря в весенних сумерках по улицам растекались люди, несущие горящие свечи в свернутых бумажных пакетиках, защищающих огонь от дуновения ветра. На душе было покойно и радостно из-за этих трогательных огоньков, весеннего воздуха, шелеста свежей листвы, колокольного звона, первых звезд на темнеющем небе. Большое впечатление производили лица некоторых монашек в Покровском и прихожан в Лавре, как теперь я понимаю, людей психически нездоровых, с восковой кожей и обращенным вовнутрь темным взглядом.

Родной город, Киев, я не просто знала, я ощущала его как живое существо. Его витальная энергетика больше всего проявляла себя весной – одновременно «взрыв» цветения садов, каштанов, акации, сирени, вспыхнувшие яркой зеленью днепровские склоны, сады и бульвары, теплое солнце, синее небо. За современной реальностью города я видела древнюю Русь, смытую временем с холмов над Подолом, видела облик города начала века, где дома в стиле модерн стали оболочкой совсем другого быта. Любимые места – София с фресками дочерей Ярослава Мудрого, Кирилловская церковь с росписями безумного Врубеля, Владимирский собор с васнецовской мадонной (у меня сохранился рисунок Васнецова, подаренный моему прадеду Кобелеву), Пейзажная аллея с видом на Подол, Владимирская горка с приднепровскими далями до горизонта, Труханов остров с майскими соловьями, парки на склонах, Андреевский спуск и подольские улочки. Для меня, как и для всех коренных киевлян, Киев – это булгаковский Город, облик которого помог мне принять «кривую», «неправильную», азиатскую, купеческую и дворянскую Москву и навсегда оставил для меня чужим имперский, каменный, «прямой», искусственный европейский Петербург. Мне было очень трудно представить, что в этом «нерусском» городе жили Пушкин, Гоголь, Достоевский и даже Шевченко. Булгаковскую «Белую гвардию» я читаю как историю моей семьи – мой город, моя среда, офицеры – бабушкины братья, также собиравшиеся в интеллигентной киевской квартире и решавшие, куда им податься в годы Гражданской войны.

Еще два города, запечатлевшиеся в моей детской памяти – Горький и Москва, где мы с мамой всегда останавливались на школьные каникулы по дороге к дедушке. Горький мне нравился – своим «киевским» расположением на холмах над рекой, Кремлем, Откосом, Волгой, по льду которой можно было зимой гулять чуть не до Сормова. Москва же меня давила – огромными серыми домами, высотками с красными звездами. Ни о каком тоталитаризме, большевизме и государственной мощи я и слыхом не слыхивала, но нутром чуяла что-то холодное, грубое, помпезное, так

непохожее на уютную человечность моего родного города. Восхищал только Большой театр – роскошь лож, красный бархат кресел, сверкание люстр, потоки живой громкой музыки, пачки балерин, красочные декорации, богатый буфет и дамы в черных бархатных вечерних платьях с горжетками из чернобурых лис. Запомнился один эпизод, смысл которого я поняла только много лет спустя. В антракте мы с мамой пошли в буфет за бутербродами с черной икрой и сладкой газированной водой. Очередь была плотной, и я, потеряв маму, попыталась к ней протиснуться между стоявшими людьми. Внезапно высоко над своей головой я услышала суровый презрительный голос: «Вы дурно воспитаны», и обомлела от неожиданности и стыда. Меня еще никто никогда не называл на «вы», к тому же я получила заслуженный упрек в невоспитанности. Я подняла глаза и была поражена еще больше – надо мной возвышался высокий и статный военный в парадном мундире со шпагой на боку, а рядом стояла его супруга в вечернем платье, с белыми, припудренными плечами, на ее шее сверкало бриллиантовое кольцо. Я уже кое в чем разбиралась и была удивлена их лицами, нетипичными для советских офицеров и их жен. Об их «бывшести» говорило и употребление слова «дурно». Производила впечатление и несвойственная интеллигентным лицам холодность, а, главное, высокомерность и жесткость. Я не знаю, кем были эти люди, но теперь мне представляется, что за свои чины и благополучие они заплатили очень высокую нравственную цену.

Самым большим счастьем в детстве было лето. В первое далекое путешествие я отправилась в четыре года, родители взяли меня с собой в Ялту. Помню, что очень боялась моря – мама тащила меня купаться, а я, сопротивляясь, вцепилась ей в шею и разорвала низку настоящего жемчуга, который пришлось по бусинке собирать в морской гальке. Помню летний кинотеатр с деревянными скамьями под открытым небом и зверушек на черно-белом экране. В пять лет я уже путешествовала с родителями по Кавказу – Военно-Грузинскую дорогу проезжали на нанятой машине с открытым верхом, но особенно запомнилась поездка в Боржом, чуть не стоившая нам жизни. Поздно вечером мы возвращались из Боржоми на «кукушке» (маленьком поезде с открытыми вагонами) по узкоколейке, бегущей над пропастью. На скамье напротив ехала грузинская семья с девочкой моего возраста, и сидевшая рядом со мной русская женщина подарила ей елочную игрушку, пластмассового оранжевого зайца (потом девочка оставила его на скамейке, и я его забрала с собой), мне же было обидно, что на меня она не обращает никакого внимания. Внезапно поезд резко затормозил, пассажиры, все местные жители, повскакивали со своих мест и что-то бурно обсуждали на своем языке, а мы ничего не могли понять. Оказалось, что прямо перед поездом на рельсы упала сосна, и машинист сумел остановиться буквально в нескольких сантиметрах от нее.

В 1957 году папа купил машину, и мои летние каникулы разделились на две части – как правило, июнь и июль мы с мамой жили в деревне «на даче», а в августе с папой путешествовали на машине. «Дачей» была обыкновенная деревенская хата, которую мы снимали на хуторе Балыки, рядом с селом Балыко-Щучинка, в 100 км от Киева ниже по Днепру. Село

располагалось в приднепровских ярах между Ржищевым и Ходоровым. Было оно необыкновенно живописным – над кручами овраги и поля, слева – покрытая густым лесом (Воронов гай) гора с характерным глиняным срезом (на ней потом раскопали Иваново городище, во времена Киевской Руси оборонявшее подходы к Киеву, а сейчас там мемориальный музей воинской славы – в этом месте была ложная переправа через Днепр в 1943 г.), под кручами – хутор Бальки, фактически одна улица, отделенная от Днепра широким лугом, на котором росли различные кустарники и высокие, кривые осоки (раньше здесь продолжались огороды хуторян, но при советской власти их «урезали»). В конце улицы поднималась крутая дорога вверх, к Глубоким Балькам, разбросанным по горкам, она же в другую сторону вела к Днепру вдоль узкого джерела (ручья). После очень сильных дождей джерело переполнялось и превращалось в мощный поток с желтой глинистой водой и оборванными ветками, который несся с большой скоростью по улице и проникал на огороды, «замуливая» их вязкой глиной. Этот поток попадал в Днепр только под Вороновым гаем на «каминнях», нагромождении каменных плит, предвестника днепровских порогов. Направо от Бальков через луг, а потом через лес с несколькими лесными, заросшими озерами, шла нижняя дорога через Монастырки в Ржищев. В Монастырках был сельскохозяйственный техникум и хлебопекарня, куда раз в неделю местные бабы ходили за очень вкусным серым хлебом (он хорошо сохранялся в коморе – кладовке). На Днепре напротив Бальков был длинный остров с белоснежными песчаными косами, с заводами, заросшими желтыми и белыми кувшинками, и вековым тенистым вербовым лесом. Ниже по Днепру, напротив Ходорова, был реликтовый дубовый лес («дубина») – все это было позже затоплено Каневским морем. С горы в Бальках в ясный день можно было видеть блеск Переясловских куполов.

В Щучинке на центральной площади находились сельрада (сельсовет) и магазин, где можно было купить керосин, спички, хозяйственное мыло, сахар и соль, иногда туда завозили крупы, муку, ситец и чулки. Его заведующая, она же продавщица, жила в соседней хате, и, чтобы что-нибудь купить, нужно было «выкликать» ее с огорода. Село не изменило своего облика с XIX века – белые украинские мазанки под соломенными крышами, окантованные желтыми «присьбами», с глиняными полами и белыми печками. При каждой хате были хлев, огород и сад, под окнами цвели мальвы, желтые «шары», чернобривцы и георгины. Участки были огорожены плетнями, на которых сушились «глечики» и «макитры». Электричества не было, пользовались керосиновыми лампами, а готовили не только в печи, но и на керогазах и примусах, на участке обязательно был «льох» (погреб). Чистейшую родниковую воду брали из колодца с ведром на цепи, который находился в середине улицы. Дверь в хату вела в сени, откуда был вход в кладовку, в единственную комнату и в закуток за печкой, где располагался «пол» (настил из досок, где спали хозяева) и перекладыны, на которых висела одежда. Вверху на печи обычно спала кошка, охотница за мышами. В комнате стояли железная кровать (над ней на стене был какой-нибудь незамысловатый ситцевый коврик), стол,

покрытый клеенкой, вдоль стен тянулись деревянные лавки. В углу, под рушником обязательно была икона с лампадкой, а на стенах, тоже под рушниками, - семейные фото (молодые хозяева и их взрослые дети в пририсованных локонах, белых воротничках и монистах). На глиняный пол насыпалась трава, колкая и прохладная, которая, высохнув, приятно пахла сеном. Рядом с дверью в комнату стоял маленький столик (там обедали хозяева), над ним висел для красоты какой-нибудь первомайский или октябрьский агитационный плакат.

На нашей улице было двенадцать хат. Наша хата была крайняя слева (взгляд с Днепра), напротив нее хата Федора Митрофановича, жившего с бездетной дочкой, некрасивой, узкоглазой Веркой и ее картавым мужем Костиком. На его участке, под горкой, стояла хата вдовы его погибшего на войне брата, Ольги Вавилоновны, отчество которой удивительным образом совпадало с ее внешним обликом – была она женщиной массивной, с крупным бугристым носом и ступнями 43-го размера. Ее дочка Галька была очень похожа на мать, она одна из немногих осталась в селе и даже дослужилась до головы сильрады. Мимо их хаты я всегда поднималась по крутой глинистой тропинке на свои любимые кручи. Нашими хозяевами были старики – Сергей Васильевич и Антонина Карповна Миненко, дид Сергей и баба Антося. У них было трое детей – Иван погиб на фронте, а Сашко после войны осел, женившись, в Калининградской области, замужняя и бездетная дочка Даша жила через Днепр, в селе Гусенцы. К нашему саду примыкал сад (они даже не были размежеваны) Марийки, вдовы брата дида Сергия, а через улицу стояли хаты вдов двух сгинувших на войне братьев бабы Антося, Наталки и Явдохи. Это те, кого я знала довольно близко, хотя помню почти всех: Копиек, Жуков, Грицаев, Петренко и Надьку-кацапку.

Поскольку Балыки были не дачным поселком, а деревней с деревенским укладом жизни, то и я чувствовала себя не столько дачницей, сколько гостем, жителем на время и в какой-то мере «исследователем» народной жизни. Меня очень интересовали судьбы и психология людей, и я часто приставала к старикам с расспросами. По преданию, село было гайдамацким, пережило оно и крепостное право, и польское панство, но особенно досталось ему во время Отечественной войны. Во время оккупации молодежь угоняли в Германию. Баба Антося, у которой забрали Дашу, вспоминала, как разнесся слух, что девушек перед отправкой держат под Киевом, и их можно выкупить за продукты. Вдвоем с соседкой, положив в мешки все, что было съедобного в доме, баба Антося за один день «пробежала» почти до Киева, но по дороге ей сказали, что состав уже ушел. Бои за Днепр при «ложной» переправе наших войск были сущим адом, все взрывалось, горело, земля была усеяна трупами и снарядами (мы, дети, через много лет находили на кручах гильзы, осколки снарядов, простреленные каски, человеческие кости), женщины и дети прятались в погребках, большинство хат было разрушено. Их отстраивали, помогая друг другу, сами бабы.

После войны население Балыков составляли в основном старики, вдовы с детьми и мужики-приймаки (которых принимали в свои хаты

женщины). У миловидной, чернявой и очень невезучей Наталки мужа убили в первый же год войны, и она одна тянула троих детей – красавицу Лиду, круглолицую Лару и Колю, который после падения на голову с дерева был немного «не в себе» (он так и не женился и в старости жил с приехавшей за ним ухаживать овдовевшей Ларой). В 50-е годы крестьяне жили очень бедно и подневольно (паспорта хранились в сельраде и часто не выдавались закончившей школу молодежи, чтобы удержать ее в селе), скудных трудодней с трудом хватало на соль и спички, покупка штапеля на юбку считалась большой тратой. Ранним утром из колхозной радиоточки (а они были в каждой хате) раздавался голос бригадира, распределявшего колхозников по работам: Верка Луценкова – на буряки, Варка Якименко – в коровник, Людмир Копийка – на ток и т. д. Многие девчата жаловались, что у них нет отцов и их некому защитить от председателя, который не разрешает им осуществить мечту – уехать в Киев и стать работницей Дарницкого шелкового комбината. Счастливицы, которым это удалось, через год-другой приезжали домой в гости в обязательном «справленном» сером шерстяном костюме в стиле «райкомовский работник» и, если уж очень повезет, с городским женихом – с ним под ручку они гордо прохаживались по селу, заходя ко всем знакомым и родичам. Наталкиной Лиде удалось уехать в Киев, но там с ней произошел неприятный случай, во многом испортивший ей жизнь. Не выдержало женское сердце бедной девочки, никогда не имевшей красивых вещей, и она украла у своей товарки новую крепдешиновую кофточку. Был «товарищеский суд», и Лида, не выдержав позора, вернулась домой. Считая, что такая, как она, недостойна честно парня, она отказала влюбленному в нее Петру и вышла замуж без любви. Петро и его брат Павло, красивые, высокие, сильные парни, были сыновьями Авраама и Наталки, людей очень тихих, порядочных и приятных, друживших с нашими стариками. Павло прекрасно рисовал, у него был настоящий талант, но никто ему не помог и никто не подсказал, как можно изменить свою судьбу. Они уехали работать на стройку, и один из них погиб.

Все это я знаю потому, что через сорок лет смогла приехать в Щучинку и поговорить с Веркой, уже 80-летней старухой, которая мне и рассказала о судьбах своих односельчан. Удивительно устроена жизнь – в мой последний день в Балыках до 40-летнего расставания Ольга Вавилоновна сказала мне, что у Гальки родилась дочь, и имя ей еще не дали. Первый человек, которого я увидела спустя много лет в Щучинке, как я потом узнала, была эта девочка, теперь уже взрослая женщина Наташа. В последний же день я встретила Лару, гордо шествующую по улице с красавцем мужем и большим животом. Так я ее и запомнила – сияющую от счастья, нарядную и красивую. А, когда я приехала в новом столетии, она уже вырастила родившегося ребенка и овдовела.

Особенно несчастливо сложилась судьба у Явдохи. Потеряв мужа, она потеряла и единственную дочь, спилась и ежедневно ходила, шатаясь, по деревне в грязной юбке в поисках самогона. Была она доброй и безобидной, и все ее жалели. Помню, как отругали бабы Верку, когда она выменяла у Явдохи за бутылку ее единственную приличную спидницу (юбку),

которую все же заставили вернуть. Случались с Явдохой и комические ситуации, которые долго пересказывались всем селом. Церкви в Щучинке не осталось, поэтому на «храм» переправлялись на човнах на другую сторону Днепра, в село, где сохранилась действующая церковь. Однажды лодку с сильно подвыпившими мужиками и бабами, возвращавшимися с храма домой, так перегрузили, что решили кликнуть пустую моторку одного дачника, тоже успевшего побывать на празднике, в которой, кроме него, была только Явдоха. По явно безумному плану, решили свести лодки бортами посередине Днепра и пересадить половину людей из полной лодки в пустую. Чтобы помочь пересадке, дачник стал одной ногой в свою лодку, другой – в чужую, но тут мимо прошел катер, из-за волн лодки разбегались, и дачник оказался в воде, а Явдоха осталась одна в лодке с заведенным мотором. Следуя указаниям кричавшего ей дачника, она пыталась выключить мотор, но кончилось это тем, что сначала лодка, как бешеная, металась по Днепру (к счастью фарватер был свободен), а затем в мотор затянуло Явдохину юбку, и он заглох только тогда, когда сживал всю материю. Потом по всему пути от Днепра до Явдохино хаты валялись обрывки зеленого штапеля.

У джереда жили Копийки и Грицаи. Хлопчики Копийки, чубатые и черноглазые Миша и Гриша, целыми днями «пасли гуси» (помеченных зеленкой), а в свободное время приходили к нашему плетню «на шовковицу» (шелковицу), которая росла на нашем огороде, поэтому их физиономии всегда были фиолетового цвета. Василь Грицай, мужик цыганистого типа, был женат на Марусе, в которой странно сочеталось разбитое родами и работой бабье тело с изящными кистями рук и маленькими ножками, а также с мраморной шеей и тонкокожим лицом утонченной красоты. Такие же безупречно правильные черты и светящиеся голубые глаза были и у ее матери-старушки. Моя мама решила, что здесь скрыта какая-то тайна, и расспросила бабу Антосю. Действительно, оказалось, что бабушка Маруси была горничной, и не только, у местного польского пана Станкевича. У Василя и Маруси было четверо очень похожих на отца мальчишек, которые бегали по улице в длинных батьковских черных трусах, всегда держались вместе и горой стояли друг за друга. Один из них, Вася, был калекой от рождения – у него были вывернуты ступни ног и кисти рук, но он ими лихо управлялся и довольно ловко передвигался. Марусе предлагали сделать ему операцию, но она так и не свозила мальчика в город. Такое поведение было типично для крестьян – Даша, дочка бабы Антоси, потеряла 5-летнего сына и больше не смогла родить из-за загиба матки, врачи предложили ей операцию, но она от нее отказалась. Что это – страх, недоверчивость, инертность, обреченность, покорность судьбе, не знаю. Через сорок лет я узнала, что из братьев Грицаев в живых остался именно Вася, живущий инвалидом в городе, а Даша осталась одна (ее муж Иван «втопився», как многие мужики в Щучинке, когда там появилось Каневское море) и от одиночества слегка помешалась.

Все 15 лет, которые мы ездили в Бальки, мы останавливались у наших стариков, которые в конце концов вообще перестали брать с нас деньги, так как мы привозили им кучу продуктов, отрезки материи и всякие

лакомства – любившиеся им тушенку, «Завтрак туриста», сгущенное молоко и карамельные конфеты. Иногда дид Сергей и Даша с Иваном ночевали у нас, когда приезжали в Киев на базар. Я к старикам привязалась и приезжала в Балыки как во второй дом. И дид Сергей, и баба Антося были из семей зажиточных крестьян (куркулей) и принадлежали к добропорядочным труженикам, обладая типичными народными украинскими чертами, удивительным образом разделенными между «чоловиком» и «жінкою».

Дид Сергей, сухощавый, с орлиным носом и острым взглядом карих глаз, был очень неглупым человеком и хорошим хозяином, соблюдавшим все правила крестьянского этикета, но при этом душевно грубым, недобрый (никогда никому не помогал и удивлялся, когда это делали другие), абсолютно лишенным эстетического чувства и какой бы то ни было сентиментальности. Любимый его вопрос был «а нашо?» – все, не имеющее практического применения и не дающее материальной выгоды, для него оставалось непонятным. Он не понимал, «для чего» читать «прочетные» (художественные) книги, с какой целью мы ездим путешествовать, зачем его жена сажает у хаты цветы. В его крестьянском сознании не существовало понятия культуры как определенной картины мира и представления о многообразии бытия. В отличие от первобытных людей, которые называли свое племя «настоящими людьми», а соседнее – «нелюдями», он признавал деление на сельских и городских, образованных и необразованных, простых и начальников, но отличие для него было чисто внешним, материальным, функциональным, мировоззренческое и культурное различие социальных слоев для него не существовало. Он был грамотным и прошел две мировые войны (особенное впечатление на него произвели латышские фермы), но иногда демонстрировал потрясающее невежество. Узнав, что я учу английский, он поинтересовался, как будет по-английски «хлеб», и очень удивился ответу: «а нашо його казаты *брэд*, якщо ВСИ знають, що це *хліб*?». Посещение с группой колхозников балета в киевском театре произвело на него неприятное впечатление – во-первых, «нашо?», а, во-вторых, «у чоловиків все видно». На Антося, судя по ее рассказам, он женился ради ее приданого (за ней давали корову, свиней и еще что-то), отбив ее у соперника. К жене относился неплохо, но абсолютно эгоистично-потребительски, и пресекал любые ее действия, которые могли помешать ей «за ним глядеть». Он запретил ей пойти на курсы ликвидации неграмотности (а нашо?) и был недоволен, когда Даша переехала из-за Днепра в близкие Монастырки (Антося будет к ней часто бегать). Во время войны бабе Антося ранило кисть руки осколком снаряда (кривизна осталась, но рука нормально работала), о чем она сообщила на фронт мужу. А потом спохватилась: «Що ж я наробила! Вин вирішити, що я без руки, и не вернеться». И послала ему свою фотографию, положив на колени вытянутые руки. Отношение к нашей семье тоже было небескорыстным, папу он считал большим начальником (главным образом, из-за машины – «простому человеку машину не дадут») и надеялся, что папа по благу сможет достать ему дефицитный шифер для новой крыши.

Надо сказать, что невежество демонстрировали и другие балычане. Дед Лодымир, услышав по радио «Соловья» Алябьева в исполнении Беллы Руденко, сплюнул и сказал «выгулялась, тай вые». Баба Антося пришла в недоумение, когда по радио заиграли пьесу Чайковского, - «яка ненависна музыка, и як пид неї танцюваты?». Она же, смущаясь, спросила меня, кто изображен на висящем у нее над столом плакате, где земной шар обнимали белый, желтый и черный, - «чы це людына, чы це мавпа (обезьяна)?». А Даша, приехав к нам в киевскую квартиру, была поражена количеству книг - «и нашо вы их держите? Прочитали та спалили б».

Баба Антося, за всю жизнь не прочитавшая ни одной буквы, никогда никуда из Щучинки не выезжавшая (не считая двух поездок на базар в Киев) и не знавшая, что Земля круглая, была женщиной исключительно разумной, деликатной и тактичной, к тому же доброй и привязчивой, хотя в людях прекрасно разбиралась и судила о них всегда верно. Меня она считала «плохенькой» (тихой, безобидной), с мамой подружилась, и когда мы в конце лета уезжали домой, к возмущению диды Сергия, плакала. Тайно от него, она жалела вдов и сирот своих братьев и носила им гостинцы. Дед любил полежать, хотя был абсолютно здоров, и отлынивал от домашней работы, часто отправляясь на рыбалку. С нее он приносил большей частью окуней, и мы все садились за их чистку - в жареном виде они были полным объедением, большая миска мгновенно становилась пустой. Баба Антося часто ворчала на мужа и любила рассказывать историю, как она пошла к Дашке и наказала ему загнать в хлев пришедшую с пастбища корову, а он, «ледащо», заснул, и корова, «яка розумниша за його, бигала по кутку та ревила».

Баба Антося вставала с рассветом и начинала день с дойки коровы Куклы (в Балыках все коровы были Куклами и Ляльками, что одно и то же), перед ней бежала трехцветная кошка, задрав трубой хвост, - ей доставалась первая порция молока. Эта кошка была очень умной. Наш сад и соседский имели только условную границу, и непонятно как, но она ее знала. Когда на нашу территорию забредали соседские куры, она мгновенно их выгоняла. Со своими прямыми обязанностями она хорошо справлялась, мышей в хате не было, но однажды разорила ласточкино гнездо, за что была сурово наказана дедом. Днем она любила греться на присьбе, выставив солнышку белоснежное пузо, а ночью спала на припечке. Каждое утро баба Антося топила печь и варила там, чаще всего, борщ и гречневую кашу. Ее день, проведенный в огороде, заканчивался ужином (единственной плотной едой за день) при свете керосиновой лампы. Хлебали они с дедом из одной миски, пронося ложки над кусками хлеба. Если приглашали меня, то с пониманием ставили отдельную тарелку. Выходных у бабы Антося не было, жила она по природному календарю, с солнцем вставала, с солнцем ложилась. «Ох, яка довга нич звимку, - жаловалась она. - Спыш та спыш».

Если в селе случался какой-то праздник, свадьба, крестины, побелка новой хаты, из скрыни (сундука) извлекались подлинники сокровища, наряды, передаваемые из поколения в поколение, которым бы

позавидовал любой этнографический музей: вышитые сорочки, бархатные жилетки, плахты, платки, ленты, монисты, дукаты, кораллы, красные сапожки. А потом из того конца села, где проходило торжество, слышались громкие песни, иногда узнаваемые, но чаще совсем мне неизвестные. Иногда гости приходили в нашу хату, тогда в комнате накрывался стол, на который ставили миски с колбасой, творогом, салом, помидорами, луком и огурцами, киселем, борщом, кашей, яйцами, курицей, большие, толстые, жесткие вареники с вишнями и бутылки с сизым самогоном (сливянкой). Все ели из общих мисок. Особенно я любила, когда приходили старики и рассказывали разные истории и байки. Их красочная речь и украинский юмор были неподражаемы. Как я теперь жалею, что, будучи ребенком, не догадалась записывать их рассказы. Один раз пришел к нам дид Каленик, имевший репутацию бывалого и ученого человека – во время войны он где-то служил вместе с американцами и хвастался своими знаниями иностранного языка. Узнав, что я учу английский, он решил меня проверить – увы, я потерпела полное поражение. Из его горла вырвалось какое-то неразборчивое хриплое клокотание, в котором нельзя было различить не то что слов, но даже звуков. Вывод он сделал неожиданно точный: «у тебе нема прахтики».

Еда в Балыках была самая простая, но, несомненно, что ничего более вкусного, натурального, свежего и полезного я никогда не ела. Молоко, сметана, масло, необыкновенный творог, ряженка, топленое молоко (в глечике с коричневой корочкой) были от своей коровы, все овощи и зелень со своего огорода. Еще теплые яйца я сама собирала в курятнике. В саду мне было разрешено собирать любую «падалицу» (особенно я любила ярко-желтые, сочные, терпкие груши лимонки) и пастиль на «Катиной» невысокой сливе с крупными лиловыми плодами. Иногда щучинские бабы приносили маме гостинцы – крупные тающие во рту груши, желтые ренклоды и крупные вишни. Дело в том, что как-то мама дала сестре бабы Антоси пирамидон от головной боли, и по селу прошел слух, что в Балыках есть дачница-лекарка, которая даром дает лекарства. В хату потянулись страждущие. Мама, как могла, сопротивлялась, но все же помогала посылить советами и простыми таблетками. Примерно раз в неделю родители на лодке соседей-дачников ездили на базар в Ржищев или Ходоров, цены тогда были неправдоподобно низкими, все измерялось даже не в рублях, а в копейках.

Помню анекдотический случай, демонстрирующий разницу между бабой Антосей и дидом Сергием. Как-то мы с ними были заняты упаковкой вереек (корзин) для Подольского базара. На дно верейки клались мелкие груши, сверху – самые крупные и красивые, а битые падалки и червивые сваливались в кучу на землю. «Оце, – показал на них дед пальцем, буде Кате та свыням». «Дурню – бурно отреагировала баба Антося, – що ты мелеш? Таке сказати!» Я умирала про себя от смеха.

В Щучинке со временем построили свою пристань (раньше ближайшая была только за 7 км в Ржищеве), которая представляла собой несколько досок на сваях с поручнями. Назначили и начальника этой пристани, которого местные мужики считали «великим чертом» и старались

всячески ублажить, так как в его власти было поставить их верейки ближе к краю – ведь пароход стоял в Щучинке считанные минуты, и нужно было успеть забросить на него тяжелый груз. До того, как построили эту пристань и мы купили машину (не всегда и потом удавалось добраться до Балыков на ней), приходилось плыть из Киева на пароход до Ржищева, а потом идти пешком через лес. Нравы на Днепре царили патриархальные. Однажды пароход долго не отходил от киевского речного вокзала, наконец, мы увидели, как по набережной бежит дед с пустыми верейками, а наш капитан кричит ему: «Тато, чому ты так запизнявся?». «Выбач, сынку, – отвечает дед, – груша довго не спродавалася.» Вся палуба была заполнена крестьянами, развезжавшимися по селам после базарного дня. Они сидели прямо на мешках и лакомились арбузами с мороженым и черным хлебом. Особенно утомительно было возвращаться с дачи, когда пароход приходил в Ржищев поздно вечером, а в Киев рано утром, приходилось дремать на палубе прямо на вещах, а, если ночи были прохладными, лежать на подстилках на металлическом полу в проходе трюма, вповалку с другими пассажирами. Но все это компенсировалось звездным небом, речным воздухом и нежными красками рассвета.

В Балыках, когда мне было 17 лет, ко мне первый раз в жизни посвятились. У Даши снимал комнату студент Монастырського сільськогосподарського будівельного технікума Петя, родом из деревни под Каневом. Как-то он с Дашей и ее мужем пришел к нам в гости, пришла, как я подозреваю, не случайно и племянница бабы Антоси Люба, круглолицая и крепко сбитая, наряженная в свое лучшее белое, атласное платье. На беду, Пете понравилась я, а не она, в чем он признался своим друзьям. По деревенским меркам, жених он был завидный – высокий, здоровый, кучерявый, вернувшийся из армии и приобретающий профессию строителя коровников. Видимо, было решено, что мне он вполне подходит, и началось сватовство. Главная атака была на мою маму. Аргументы, приводимые дидом Сергием, трудно было оспорить: «Служив у хлоти. Сам вмие дойти корову. Такой роботящий, що, доки льоха не выкопае, той пыты не сяде.» «На людину, – убеждал дед, – треба дывытись, колы вона выпье. Якщо бьеться чи лається, то погана людина, якщо плаче чи сміється, то добра». Петя смеялся. Мама сидела красная от смущения и неловкости и беспомощно лепетала, что я еще очень молода и мне надо учиться. Но старики были непреклонны. «Як сватають, то треба йти, а там видно буде», – вынесла окончательный вердикт баба Антося. Мы очень боялись обидеть стариков, искренне желавших мне добра, но ситуация разрешилась быстро и просто. Узнав, что у меня дедушка – профессор, Петя испугался, что «получит гарбуза», и сам отказался от сватовства. Но на бедную Любу он так внимания и не обратил.

Балыки первыми «открыла» семья Хотяинцевых. Николай Павлович, заведующий лабораторией в Институте механики, был начальником нашей соседки Зои Ивановны, которая, как и некоторые другие родственники и знакомые Хотяинцевых, начала летом снимать хату в Балыках. По ее рекомендации, поехали и мы, что вызвало, как нам потом рассказывали, недовольство завсегдаев, не жалующих чужаков. Но при первой

же встрече на хуторе один из дачников радостно закричал «так это же Лика!» и бросился жать папе руки. Это был Котик (Николай Борисович Штейнгель, из немецких баронов), старый папин знакомый по молодежной компании, хорошо знавший и папиных сестер. Тут же выяснилось, что мой дед Стеценко преподавал математику у Ирины Дмитриевны Хотяинцевой на рабфаке, так что мы быстро со всеми подружились. С моими ровесниками, Сережей Хотяинцевым и Таней Штейнгель, я поддерживаю отношения всю жизнь.

Кроме нашего «костяка» дачников, в Балыки в разное время приезжали представители киевской богемы, поэты, писатели, режиссеры и балерины. На острове напротив Щучинки любил останавливаться знаменитый певец Борис Романович Гмыря. У него с женой была одна из лучших на то время на Днепре моторных лодок с каabinкой. Они заезжали в село за продуктами, и узнать их лодку можно было по легендарному коту Мишке, который, что не свойственно кошкам, совершенно не боялся воды, и всегда сидел во время быстрого движения лодки в самом ее носу «вперед смотрящим».

Несколько лет у Явдохи жила семья одного «радянського письменника», типичного представителя своей среды, толстого и мордатого деревенского и «шибко партийного» мужика, писавшего конъюнктурные повести и романы, а также юморески, клеймившие стилияг и низкопоклонство перед Западом. Его молодая полненькая жена считала себя женой великого человека, называла мужа по имени отчеству и играла роль светской дамы. Я ходила к их дочкам играть в куклы и карты и имела возможность наблюдать за творческим процессом «классика», который сидел под грушей за пишущей машинкой и вслух подбирал нужные слова. Давалось это ему нелегко, так как ему была заказана повесть на неродном для него русском языке, и он постоянно консультировался с женой. Иногда подавала реплики и я. Потом меня перестали приглашать – их напугали мои некоторые дерзкие высказывания и показалось странным то, что я могла в одиночестве часами сидеть на горе и смотреть вдаль. Меня же возмутил их жестокий поступок – свою собаку, милого, ласкового пинчера Пуську, они оставили, уезжая в конце лета в Киев, Верке, хозяйке Хотяинцевых, которая, по крестьянскому обычаю, посадила ее в будку на цепь, била палкой и почти не кормила. Иногда мне удавалось выпросить ее у Верки, накормить колбасой и даже взять с собой на пляж. Забрать в Киев я ее не могла, наши соседи по коммуналке были против домашних животных.

Как-то я обнаружила книжечку этого писателя в совсем неподобающем месте. У наших стариков туалетом служила яма с двумя досточками, полукругом огороженная плетнем в конце огорода. В этот плетень (о туалетной бумаге тогда и в городе никто не слышал) засовывались обрывки газет, оказалась там и книжечка, в которой я прочитала велеречивую дарственную надпись: «Сергию Васильовичу, людини, працю якою я поважаю бильш усього в свити». Я поинтересовалась у дида Сергия, почему он так поступил со столь ценным подарком, на что получила исчерпывающий ответ: «Це гавно собаке, насирутвоийматери, а не письменник. Письменником був Тарас Шевченко».

Летом 1953 года в Балыки приехали приятели Хотяинцевых из Москвы, историки, Михаил Антонович Алпатов, помощником главного редактора Большой Советской Энциклопедии, и Зинаида Владимировна Удальцова, византист, кандидат наук, работавшая в академическом институте. Помню, как на пляже обсуждалось грандиозное событие – год назад они получили большую отдельную квартиру у Сокола и были озабочены покупкой мебели, люстр, картин и ковров. Зинаида Владимировна сочла, что я похожа на «египетскую фреску» (через 30 лет это повторит известный литературовед Петр Васильевич Палиевский), хотя, с моей точки зрения, я типичная южнорусская славянка с примесью тюркской крови. В 1955 году они приехали снова, уже с сестрой Зинаиды Владимировны, Ириной Владимировной, доцентом-филологом в МГУ, и 10-летним сыном Вовой. Вова был странным, неуклюжим мальчиком, знавший буквально наизусть БСЭ и обладавший феноменальной памятью. Как перешептывались взрослые, ученые родители занимались им мало, и игры и прогулки ему заменяли книги. Он знал всю транспортную систему Москвы и любил, когда его спрашивали, как, куда и на чем проехать. Поэтому мы, дети, дразнили его «трамваем двадцать пятым, троллейбусом десятым» и очень потешались над его растянутым, акающим московским говором. Чтобы отличать его от младшего сына Хотяинцевых, Вовки, его стали называть «Вова московский». Этот приезд был ознаменован событием, в те годы почти невероятным – Зинаиду Владимировну срочно вызвали в Москву телеграммой, так как она должна была оформляться в свою первую зарубежную научную командировку в Турцию. Все тогда путешествовали только по книгам Ганзелки, Зигмунда и Хейердала, мамы на пляже читали их вслух детям. Могла ли я тогда представить, что через 20 лет выйду замуж за «Вову московского» и проживу большую часть жизни в его квартире на Соколе?

Время в Балыках мы проводили очень весело. Почти все мужчины были заядлыми рыбаками, даже мой меланхоличный папа купил спиннинг, правда, особо в этом деле не преуспел (первым его уловом были собственные тусы). Но у таких профессионалов, как Николай Павлович Хотяинцев или профессор КПИ Вадим Павлович Тараненко, улов бывал впечатляющим, попадались огромные щуки и сомы почти в человеческий рост (запечатлены на фотографиях). У нескольких дачников были свои моторные лодки с приводным мотором, на них мы часто целыми семьями переправлялись через Днепр на остров, разводили костры, варили уху в котелках. Воду брали прямо из Днепра (сейчас об этом и подумать страшно). Иногда возвращались в темноте, и тогда можно было смотреть на звездное небо и на лунную дорожку на реке. Днем до обеда, как правило, сидели на пляже, которым служила песчаная ложбина, выходящая к Днепру (остальной берег был довольно крутым). В эту ложбину, окруженную лозой и осоками, пригоняли на водопой сельское стадо, так что наш пляж назывался «коровий».

Балыки для меня состояли из множества мест-миров, преображенных моим детским воображением. По-видимому, влекомая древним женским инстинктом домоустройства, я всегда и везде структурировала

пространство в дома, дворцы и усадьбы. Из крутого берега, изрешеченного ласточкиными гнездами, мы добывали жирную черную глину (глей) и строили из нее на песке замки с башнями, огороженные рвами и крепостными стенами. Заросли лозы на горячем белом песке для меня состояли из множества залов и комнат. Богатую пищу для фантазии давало «каминня» с нагромождением неровных плит и пещерами. Но больше всего я любила сидеть на горе над хутором под кустом красной калины (утром и после дождя на каждой ее ягоде висела прозрачная, переливающаяся на солнце капля). Оттуда передо мной расстилались невообразимые дали, извиваясь, превращаясь в тонкую ленточку, тек Днепр, уходили в дымку луга и леса, чернел Воронов гай над желтым откосом, по улице гнали домой коров, было видно баб, пропальвающих огороды, а над всем этим летели, меня форму, слетаясь и разлетаясь, белые облака. Но можно было лечь лицом в траву и увидеть мир совсем другого масштаба. Там, среди стебельков, цветов и листочков кипела своя жизнь – сновали какие-то жучки и паучки, деловито по своим дорожкам бегали муравьи, жужжали пчелы. Это «двоемирие» на всю жизнь определило мое мировосприятие. Я научилась любить живую, многообразную, земную жизнь, но при этом всегда соизмерять ее с высшим, космическим, вообщим. Таким образом, мой романтизм был не только книжным, но соответствовал в целом состоянию моей души и взгляду на мир.

Я очень любила принимать участие в крестьянских заботах, что было для меня, конечно, своеобразной игрой. В то же время это научило меня примерять на себя иной образ жизни и понимать людей с другой психологией и социальной культурой. Как интересно было встать на рассвете вместе с бабой Антосей, когда постепенно светлело небо, а село оживало звуками – криками петухов, щебетом птиц, лаем собак, мычаньем коров, стуком дверей и ведер. Бело-розовая прохлада рассвета наполнялась солнцем, как растопленным маслом, вливая энергию жизни во все живое. Я пыталась доить неумелыми руками корову в полумраке хлева и с опаской следить за ее придирчивым взглядом из-под длинных ресниц. Иногда я надевала косынку, закрывая лоб до бровей, и шла на прополку в огород или на сбор груш с длинным шестом, на конце которого был прикреплен проволочный волан. Но самое увлекательное – поход на джерело за травой для пола или на лесные поляны, где дид Сергей косил и собирал в скирды сено. И какое увлекательное приключение – залезть на воз с сеном, который тащат два круторогих вола. При всем при том я оставалась дачницей, жила в деревне только летом и не видела самых тяжелых сторон крестьянской жизни, воспринимая ее несколько по-книжному, прежде всего с эстетической и умозрительной точки зрения. Передо мной была шевченковская и гоголевская Украина, в глубинах своих сохранившаяся в XX веке – та же ослепительная южная природа, те же белые хатки с соломенными крышами, те же вишневые сады, колодцы и плетни, те же бабы в широких юбках и белых рубахах и платках, жнущие серпом на поле или несущие воду в ведрах на коромысле, те же песни и праздники, тот же юмор и, в общем, та же горькая доля. В Бальках я научилась не только любить Украину, но и понимать ее народ, несколько его не

идеализируя, и что самое главное – чувствовать свою внутреннюю связь с этой землей и этими людьми.

В простых, необразованных людях меня привлекала какая-то нравственная и эстетическая интуиция, они в большинстве своем прекрасно разбирались в окружающих и давали им меткие оценки, но отгалкивали нередкая грубость, косность, однообразие быта и особенно неуважение к собственной идентичности, к своему труду. Жизнь действительно была тяжелой и бедной, и каждый родитель мечтал, чтобы его дети «не копались в земле», а «вышли в люди», то есть уехали в город и стали «городскими», у которых нормированный рабочий день и есть все бытовые, без хлопот достающиеся удобства, а также еда, купленная в магазине, а не выращенная потом и кровью. Более того, городские казались крестьянам не такими «темными, как мы», а «культурными», то есть по-городскому одетыми, с завитыми волосами и говорящими на «культурном» русском языке (на самом деле – на жутком «суржике»). Было ужасно, что люди, живущие веками на такой прекрасной, плодородной земле, не могли стать крепкими хозяевами, построить достойную жизнь, реализовать в крестьянском труде. В этом «предательстве» своего исторического уклада сказывались и особенности национального характера, сложившегося за века подневольной жизни и борьбы за выживание. Живой, ироничный ум, потрясающее чувство юмора, меткость и афористичность речи, незлобность, романтичность и даже сентиментальность, музыкальность и, в то же время, хитроватость, склонность к лести и неискренности, упрямство, прижимистость, хуторской эгоизм (моя хата с краю), куркульское стремление все грести под себя.

Больше половины жизни прожив в России, я продолжаю чувствовать связь со своей родиной и даже испытываю некоторую неловкость, что не разделяю ее судьбу (хотя во время Чернобыля оказалась в Киеве). Через 40 лет я не застала в Балыках ни соломенных крыш, ни земляных полов, ни проселочных дорог, а наша улица вообще скрылась под водой. Днепр превратился в море, вернее в заросшее ряской болото, многие поля стали лугами, заросшими кустарником, но самое печальное, что вымерли и ушли из села целые семьи, а многие мои знакомые и те, кто моложе меня, умерли, погибли, утонули. Из подвижных, черноглазых хлопчиков, бегавших по селу моего детства, мало кто выжил и нашел свое счастье.

Балыки были важной частью моей жизни, но вторым летним «счастьем» были путешествия с родителями на машине. Сначала нам составляли компанию Хотяинцевы, купившие «Москвич», а потом и «Волгу», потом, когда они взяли садовый участок и целиком погрузились в садоводство, мы ездили одни, иногда беря мою подругу Иру. В определенной степени путешествия были для меня своеобразной «материализацией» мира книг, ставшего не меньшей реальностью, чем моя собственная жизнь: Крым Грина и Чехова, Петербург Достоевского, Полесье Леси Украинки, Кавказ Пушкина и Лермонтова, средняя полоса России Тургенева и Паустовского, Украина Гоголя, Одесса Бабеля и пр. Заграничные страны были абсолютной нереальностью, они из книг не «выходили», но слабое представление о них можно было составить по Прибалтике,

Карелии, Буковине, Калининградской области. Воспитанное во мне целостное восприятие природы, культуры и литературы научило меня важному ощущению «бытовое» отношение к окружающему, когда любые страна, города или курорты оцениваются с точки зрения комфортности обитания, погоды, чистоты, еды, транспорта или отелей. Гротескный случай – одна моя знакомая, собираясь с мужем на работу, сказала, что они отказались от Парижа (!), потому что их предупредили, что «там не убирают за гадящими собаками» (!), и они выбрали Мюнхен, поскольку «там натуральные молочные продукты».

Для того, чтобы описать все, что мы видели, все наши тяготы, приключения и радости, понадобилась бы целая книга. Восхождения на кавказские ледники (запомнилось, как на Алибеке попали в страшную грозу), поиски дольменов по дореволюционному путеводителю Москвича (удивительно, но сохранились почти все указанные ориентиры – пасека, поляна, скала, старый дуб), прогулки на Карадаг и в коктебельские бухты, пещерные города горного Крыма, карпатские полонины и смереки, тихие озера Карелии и Литвы, европейские города Прибалтики, органичные концерты в костелах, русские монастыри, молдавские виноградники, украинская Венеция Вилково на Дунае и многое, многое другое.

В 60-е годы появилось достаточно большое количество владельцев частных машин, которые летом целыми семьями, иногда по несколько семей, отправлялись в путешествие с размещенными на крышах багажниками с палатками, раскладушками и примусами. Гостиниц было мало, почти всегда мест в них не хватало, мотели только начали появляться, поэтому пристанищем часто служили «Дома колхозников», частные дворы, наскоро организованные стоянки с палатками, застеленными соломой. Как правило, люди не знали, где останутся на ночевку и с наступлением сумерек просто съезжали с шоссе в ближайший лесок или на берег речки. Нередко, ради безопасности, к ним присоединялись другие машины, вместе жгли костры, варили еду, делились впечатлениями. На Юге было много так называемых «диких» стоянок, с самыми примитивными удобствами, не больше чем кран с водой и туалет. Самым многолюдным, беспорядочным и экзотичным был Каролина-бугаз под Одессой: машины располагались у кромки моря, дальше был густой лес, за которым – дачные домики, а на пустыре были выкопаны неглубокие ямы, обложенные землей со стороны моря и открытые на дачи, они и служили туалетом. Но подобные неудобства мы воспринимали с юмором, и все это компенсировалось чистым морем и детским восторгом от переживаемых приключений. Помню, как-то в безлунную ночь мы с Хотяинцевыми съехали с обочины в небольшую рощу и принялись устраиваться на ночлег. Николай Павлович обрадовался, найдя большой плоский камень, на который можно было поставить раскладушку. Утром обнаружилось, что это мраморная плита – мы ночевали на кладбище. Опять же ночью мы безуспешно пытались найти гостиницу в маленьком грузинском городке. Какой-то случайный грузин вызвался проводить нас на удобную стоянку, «где вас никто не потревожит». Мы проследовали по темным улицам за

бегущей перед нами в свете фар фигурой и въехали в какой-то двор с запирающимися воротами (утром грузин обещал нас отпереть). Проснувшись, мы с ужасом поняли, что ночевали на тюремном дворе, куда выводят на прогулку заключенных. Очень опасной оказалась ночевка в Карпатах на поляне у горной речки. Посреди ночи разразилась страшная гроза – по лугу летали, разлетаясь на шипящие фейерверки, молнии, сплошной стеной стоял ливень, но хуже всего была разлившаяся, подступившая бурным потоком к самым машинам река. Все обошлось, но было очень страшно в металлической искрящей машине.

По дороге, на остановках, на пляжах приходилось встречаться с разными людьми, некоторые запомнились на всю жизнь. Очень приятное воспоминание оставила русская семья в Осташкове, на Селигере, в доме которой мы ночевали две ночи. Сам дом был не очень похож на советское жилище тех лет – новый, удобный, построенный самим хозяином, чистый, с ухоженным двором и садом, окруженный ровным деревянным забором. И хозяева были ему под стать, молодые, красивые, приветливые, с правильной русской речью. У родителей и двух девочек были типичные голубоглазые славянские лица, приняли они нас с доброжелательным гостеприимством, и было видно, что они рады общению с нами. В доме было довольно много книг и подшивок журналов, и беседы наши были о литературе и театре. Особенно хозяев интересовал балет, как выяснилось, они специально ездили в Питер на спектакли Мариинского театра.

Возвращение в Киев после летних путешествий всегда было грустным – монотонная повседневность, ненавистная коммуналка, надоевшая школа. Моя киевская жизнь проходила в двух непохожих друг на друга мирах. Моим ближайшим, родственным окружением были «старые интеллигенты», причем, в основном, старые и в смысле возраста. Эти «бывшие» и воспитанием, и душой, и мышлением как будто существовали в прежних временах. Выброшенные из своих квартир, «уплотненные» жильцами совершенно другой социальной культуры, лишенные почти всего своего имущества, подавленные страхом и униженные, они с невероятным упрямством старались жить в соответствии со своими представлениями. Здесь сохранялись культурная русская речь со спокойными интонациями, доброжелательное, тактичное поведение, определенные вкусы и привычки, проявлявшиеся и в одежде, и в манерах, и в художественных пристрастиях. В отличие от людей, получивших образование в первом поколении, для них искусство не было чем-то внешним, внеположенной реальной жизни сферой, а внутренним, естественным и неотчуждаемым. Достоинство и честь также принадлежали им, как принадлежало им собственное тело.

Их комнаты были островками старого мира с рассыпающимися предметами «былой роскоши» – потускневшими серебряными ложками, остатками старинного фарфора, картинами в золоченых рамах, дубовыми громоздкими буфетами и комодами, зеркалами в причудливых рамах, книгами с ятями. Подобная атмосфера была и в нашей квартире: старинное резное кресло с бархатным сидением соседствовало с уродливым советским диваном, книжный шкаф «из имения» – с грубо сколоченными

доштатыми полками, пианино – с железной кроватью. На стене висели черная тарелка-радиоточка и прадедовская картина XVII века в роскошной раме, изображавшая Христа и Фому Неверующего, на буфете стояли кузнецовский столовый сервиз и чайный сервиз с бульдонежами, привезенный бабушкой из Саксонии, но не было никаких атрибутов советского благополучия, хрусталя, ковров и каракулевых шуб. Ничего не менялось годами, новые вещи практически не покупались. В детстве мне такая обстановка казалась естественной, но потом я убедилась, что для многих моих одноклассников она представлялась странной и несовременной. Наша квартира, да и мои родственники, как будто зависли во времени, что, с одной стороны, сохраняло их культурную идентичность, но, с другой, чисто житейской, мешало процветать в реальной жизни. Никто не вступил в партию, никто не стал начальником; служили инженерами, преподавателями, учителями, врачами, и довольствовались убогим бытом и простыми радостями жизни – книгами, театрами, концертами, поездками на природу.

Идеализирую ли я старую интеллигенцию? Нисколько, люди во всех условиях остаются людьми, среди них были и недалекие, и эгоистичные, и недобрые. Многие стремились приспособиться к новой власти, опрошались, теряли понимание своей охранительной культурной миссии. Пожалуй, из-за развитого личностного начала интеллигенция меньше, чем другие социальные классы, обладала выраженным самосознанием и сословной солидарностью. Она была чрезвычайно восприимчива к «высоким идеалам» и всегда была рада откликнуться на призывы к «свободе, равенству и братству» и почувствовать себя причастной к авангарду «прогрессивного» человечества, но очень вникая в реальное, а не идеальное наполнение этих понятий. Хорошим тоном считалось далеко не всегда оправданное народолюбие, истоки которого чаще всего лежали в идеализированном представлении о народе – ведь знакомство с ним часто ограничивалось прислугой. Далеко не всегда эти люди могли оценить радикальную и подлинную суть революционных перемен, ознаменовавшихся сменой доминирующей социальной культуры (фактически, уничтожением высокой русской культуры), и меня раздражало, когда они придирались ко всяким малозначащим мелочам, проявлениям бытовой невоспитанности пришедших к власти людей, как будто не замечая глобальной катастрофичности происходящего. Они были похожи на институток, попавших в камеру с уголовниками и возмущающихся их неумением пользоваться столовыми приборами и целовать дамам ручки.

И все же главным разрушителем старой интеллигенции был страх. Он толкал их на мезальянсы (часто ради простого физического выживания), заставлял сторониться друг друга (чтобы не «светиться»), вступать в партию, отказываться от родственников, демонстрировать свою лояльность, молчать, терпеть унижения и не реагировать на унижения других. Все эти, казалось бы, внешние моменты (даже при пресловутой «фиге в кармане») незаметно и неотвратно разрушали людей изнутри, и уже в следующем поколении они растворялись в окружающих обывателях, практически ничем от них не отличаясь. (Смешными и жалкими выглядели в 90-е годы

попытки выходцев из «бывших» кичиться своим дворянским происхождением. Их выдавало само непонимание того, что дворянство (а оно еще до революции фактически слилось с разночинством) – не формальный статус, а определенный взгляд на мир и определенное социальное поведение. Особенно анекдотичной была убежденность некоторых новоявленных дворян в том, что об их высоком происхождении свидетельствует якобы генетически передающаяся страсть к роскоши.) Даже в 60-е годы бабушка шикала на меня на улице, если я произносила слова «гимназия», «имение», «дворянин». Фотография моего прапрадеда Кобелева с Александром II была сожжена. Окружающие делились на очень узкий круг «своих», с которыми можно было быть откровенными (только шепотом), и на всех остальных, при которых лучше было молчать или говорить общепринятые банальности. Во многих, и часто не без основания, подозревали секретных сотрудников ужасного КГБ. Состояние умов могло доходить до полного абсурда: тетка моего мужа всегда говорила, что она убежденный член партии, и на мой вопрос, какие логические рассуждения привели интеллигентного человека к такому мировоззрению, она патетично воскликнула: «Ты не знаешь, что такое, когда к тебе в дом приходят вооруженные красные и штыками колют сундуки и постели!» Неоспоримый повод стать верной коммунисткой. И таких было очень много. Помню, как в «вегетарианские» брежневские времена я испытывала чувство страшной неловкости на собрании Института мировой литературы, посвященном обсуждению «Малой земли» Брежнева. На трибуну поднимались седовласые именитые ученые и дрожащими старческими голосами сообщали аудитории, что Брежнев – это «новый человек», предсказанный еще Пушкиным, а его сочинения – новый жанр «малой эпопеи», превзошедший традиции Толстого. Они были в конце жизненного пути, их тогда уже никто бы не посадил и их звания не отобрал – нужно было просто промолчать. Увы, все это свидетельствует о преобладании биологической основы человеческой природы, не способной преодолеть базовый инстинкт самосохранения даже в самых культурных своих представителях. На его алтарь кладутся честь, совесть и достоинство.

В мире моего ближайшего окружения мне было хорошо и комфортно, но это был мир, уходящий в прошлое, а жить нужно было в реальности, что оказалось нелегко со всех точек зрения. Ребенок воспринимает окружающее не разумом, а интуицией, и, ничего не понимая в истории и тем более в политике и идеологии, я совершенно ясно видела разницу между социальными культурами и чувствовала, что в советском обществе доминирует абсолютно чужое мне, в целом простонародное мировоззрение, причем в наихудших его проявлениях. Я его не презирала и не отвергала, но считала приемлемым и естественным для соответствующего слоя людей и не могла согласиться с его распространением на такие сферы, как наука, искусство и образование, и с вытеснением интеллигентской культуры (несомненно, более высокой с точки зрения человеческой эволюции). «Вехи» я тогда не читала. Социальная мобильность необходима, это залог развития общества, но переход должен осуществляться постепенно и естественно через отбор лучших, погружение в культурную среду,

формирование более широкого взгляда на мир, а не таким варварским образом, как это произошло в России. Многие в людях не моего круга меня удивляло и было для меня абсолютно неприемлемо. Во-первых, во всем упор на телесность и материальность – повышенное внимание к своему телу и особый интерес ко всяким плотским инстинктам и проявлениям, к еде и взаимоотношению полов, уважение к силе и почти физиологическая ненависть ко всяким «хлюпикам» интеллигентам. Человек воспринимался прежде всего как тело, а не как неповторимая личность, отсюда какое-то равнодушие к рождению и смерти, деление людей главным образом по возрастному и половому признакам, убежденность во всеобщем равенстве (понимаемом как одинаковость). Во-вторых, часто встречающаяся агрессивность к окружающим, подозрительность и недоверчивость, уверенность, что человеком преимущественно движут корыстные побуждения. В-третьих, завистливость и стремление к уравниловке, то есть к тому, чтобы никому не было лучше, чем ему. В-четвертых, неприятие «чужих», «других». Люди, как правило, делились на богатых и бедных, начальников и простых, но не было ни малейшего представления о различных социальных культурах. Под культурой понимались лишь ее внешние атрибуты – манера одеваться, социальный статус, наличие образования. Все эти, казалось бы, бытовые черты определяли политику и идеологию советского государства, которое управлялось выходцами из народа с соответствующей психологией. Взгляд на человека как примитивное существо, озабоченное первичными материальными потребностями, пренебрежение личностью и ее судьбой, неуважение к интеллекту, таланту, заслугам, равенство между порядочными людьми и уголовниками, отсутствие представления о репутации – любой мог попасть под подозрение, паранойя в поисках врагов. Когда в «Правде» публиковали портреты членов политбюро КПСС, папа вытаскивал пожелтевшие от времени групповые портреты преподавателей киевской гимназии или профессоров политехнического института, и мы долго смеялись - наглядное свидетельство того, что произошло со страной после революции, никакие слова не нужны.

Я понимаю, что многие упрекнули меня в сословных предрассудках, в высокомерии и презрении к простым людям, но это совсем не так. Надеюсь, что мне присуще «дворянское чувство равенства со всеми живущими на земле», отличное от нуворишского самомнения и пренебрежительного отношения к «людишкам», свойственного советской номенклатуре, бывшейся «из хама в пань». Я отношусь с одинаковым уважением и доброжелательностью к людям любого социального слоя, любой национальности, цвета кожи и убеждений, естественно, за исключением подлецов и мерзавцев. Более того, мне всегда больно и неприятно замечать в людях неуважение к себе и своему социальному слою, неоправданный и унижительный комплекс неполноценности, так как, с моей точки зрения, у всех должно быть чувство собственного достоинства и понимание своего места и роли на земле. Нет высшего и правильного мировоззрения, религии, расы, профессии, все равноправны и равноценны в мире, ценного именно этим разнообразием. Но это не означает, что матрос может быть

директором оперного театра или свиновод возглавлять академию наук, и дело не только в отсутствии профессиональных знаний, а в том, что каждому занятию должна соответствовать определенная культура, воспитание и масштаб взгляда на мир. Теперь я понимаю, что признание расовых, национальных, цивилизационных и исторических различий (никто не станет утверждать одинаковость европейцев и африканцев, китайцев и зулусов, мусульман и буддистов, стариков и детей, первобытных и современных людей) и отрицание специфики социальной порождено распространением демократических принципов и доминированием массового сознания.

С 12 лет то, что я чувствовала интуитивно, оформилось в четкое мировоззрение, и я самостоятельно (естественно, родители при мне особенно не распространялись из страха за меня) пришла к выводам, что Октябрьская революция была трагедией для страны, но при этом не могла не понимать и то, что советская власть была действительно народная (если под народом понимать простонародье), так как соответствует крестьянскому мифологическому сознанию и психологии деклассированных горожан в первом поколении. Такие, как я, не желающие меняться и приспосабливаться, здесь чужие, и моя жизнь, мои отношения с окружающими, моя судьба не могут быть легкими. Все аргументы, которые приводятся «идейными» людьми в пользу советской власти, казались мне легко опровергаемым абсурдом. Ликвидация неграмотности, социальный лифт, подъем промышленности, ликвидация сословий – все это задачи закономерной буржуазной революции, которые вынуждены были решать коммунисты. Вековечная (якобы христианская) мечта о всеобщем равенстве (речь идет не о равенстве в правах, а фактическом, уравнительном равенстве, исходящем из идеи социальной и культурной однородности) – это то же, что мечта о вечной весне, противоречащей законам природы – доказано, что равновесие, уравнивание, единообразие ведет к уничтожению любой системы, которая лишается динамики и перестает развиваться. Бесплатное образование и медицина – чистый обман, они осуществляются за счет неприемлемо низких зарплат, то есть неадекватной платы за труд. Социалистической экономики как науки вообще не существует. А идеология – чист религиозное мракобесие, не требующее никакой логики и обоснования, а только слепой веры. О чудовищной жестокости, бесчеловечности, пренебрежении личностью, ее свободой и правом на собственное мнение и говорить нечего – это очевидно. Пролетариат объявлен самым передовым и сознательным классом, тогда почему достижением социализма считается получение людьми из народа высшего образования, то есть переход к непередовым и несознательным? Почему, например, отец моего мужа бросил свою семью и среду и не общался даже с родной матерью 20 лет, чтобы стать непохожим на своих родственников, и гордился тем, что вся его дети получили высшее образование, а не стали слесарями третьего разряда? По логике коммунистов получается, что если в школе учатся два мальчика из «народа», один учится хорошо и становится ученым, а второй плохо и становится дворником, то второй передовее и сознательнее первого? И вся эта околесица 70 лет воспринималась как должное, а любые сомнения в ней считались «провокацией». Реальность

настолько расходилась с постулируемой идеологией, что ложь стала и образом мышления, и стилем жизни.

В первых классах школы все было относительно хорошо. Мы с моей подругой (с колясочного возраста, она родилась в соседнем доме) Ирой Ермаковой попали в один класс к «неслучайной» учительнице, о которой моя мама навела справки (она была подругой бабушки Нины Батуревич), – Марии Владимировне Бочковой. Это была мягкая, спокойная интеллигентная старушка с изломанной судьбой – она и ее две сестры были невестами царских офицеров, погибших во время революции, личная жизнь у них так и не сложилась. В первом классе мы еще учились в «женской» школе, во втором классе к нам пришли мальчишки. У меня появилось несколько подруг, мы ходили друг к другу в гости и играли в куклы и «принцесс». Девочки любили собираться у меня, так как мама разрешала нам копаться в большой круглой шляпной коробке и вытаскивать оттуда старые шляпки, веера, накидки и перчатки. Устраивались дни рождения, на которые, как правило, приносили множество одинаковых подарков – туалетный набор «Мойдодыр» или рассказы Гайдара – просто в магазинах не было никакого выбора. Все жили в коммунальных квартирах, за исключением одной дочек работника ЦК партии и одного главного инженера завода, лауреата Сталинской премии. Только в их квартирах были все приметы советского номенклатурного достатка – ковры, хрусталь, вазы, люстры с подвесками и мамы в китайских халатах с яркими райскими птицами.

Школа перестала быть уютным продолжением дома, когда мы перешли в пятый класс и у нас появилось много учителей и новый классный руководитель. Сначала им была Вера Мартыновна, неопрятная женщина лет 50 со стеклянным глазом и жидкой косичкой вокруг головы. По призыванию не педагог, а домашняя хозяйка, она была личностью абсолютно серой, стандартной и достаточно злой. Учила она нас русскому языку, весьма скучно, иногда могла в середине урока пожаловаться: я тут с вами сижу, а у меня в ванне белье замочено. Меня она не любила (моя мама на родительском собрании выступила против какой-то ее очередной глупости) и делала так, чтобы я не заканчивала четверть со всеми пятерками. По одному из предметов, хоть по физкультуре или труду, мне ставили четвере. Однажды несправедливость была уже слишком очевидной. Существовало правило – если у ученика по предмету две четверки и две пятерки, то за четверть выставляется последняя оценка. У меня по украинскому языку было 4, 4, 5, 5, а в четверти – 4. Возмутилась мама, но учительница украинского накричала на нее, что она вмешивается в педагогический процесс, цель которого побудить меня учиться еще лучше. В результате я заявила, что стараться вообще не буду, так как, что бы я ни делала, со мной все равно поступят несправедливо. До сих пор не знаю, был ли такой педагогический ход глупостью или проявлением недоброжелательности ко мне лично. Затем нашим классным руководителем стал физкультурник Леонид Захарович Блюмин, может быть, и не вредный мужик, но ни в педагогике, ни в подростковой психологии ничего не смыслящий. Вообще задачей школы прежде всего было воспитать советский патриотов, верных сынов коммунистической партии, а главное – полных

конформистов, которым и в голову не должно было прийти критиковать существующие порядки или отклоняться от стандартного поведения. Остальное было второстепенным, во всякие психологические тонкости не вникали. Меня, например, поражал один из основных постулатов – во всех конфликтах между детьми должны разбираться сами дети. Поэтому бесполезно было жаловаться на то, что тебя сбили на перемене с ног подножкой, или швырнули в тебя стулом, или украли у тебя пенал, или дразнили каким-нибудь физическим недостатком, или оболгали. Хулиганство торжествовало, так как хамы знали о своей безнаказанности, а научить их отличать добро от зла было некому – дома они воспитания не получали, а учителя были равнодушны. «Сами же разбирающиеся» дети смеялись или потакали злу, ибо, как известно, в возрасте, когда личность только формируется, преобладает стадное чувство и стремление примкнуть к сильному.

Школа была одним из самых заидеологизированных советских институтов, наиболее косных и консервативных, а учителя в своей массе были очень пугливыми. Большинство детей бездумно принимало внушаемую им идеологию, ведь ничего другого они не знали, а к самостоятельному мышлению были способны немногие. Некоторые, к которым относилась и я, могли мыслить нестандартно, обладая внутренней свободой и бесстрашием, продиктованными во многом детским легкомыслием и непониманием реальной ситуации. Со мной как-то произошел один глупый случай. Не помню уже, в связи с чем, одна моя соученица спросила, что такое «Антидюринг», и я, удивившись ее невежеству, с моим гиперболизированным подростковым чувством юмора, ляпнула «это такой танец», чему, как ни странно, она поверила. Меня это страшно развеселило, и я решила развеселить и других. На вошедшем тогда в моду КВН-е я вставила в свою песенку такой куплет: «Антидюринг танец звался, очень странным он казался. Дюринг, Дюринг, негодяй, диалектику отдай!» По залу прошел не то учительский вздох, не то стон, не то вопль, потом наступила тишина. Мне ничего никто не сказал, я только ловила испуганные взгляды, но потом узнала, что этот случай разбирался на педсовете и было решено его замять. Но его не забыли. На следующем КВНе на сцену вызвали из команд двух классов четырех отличников, от нашего класса меня и Алика Габовича, и объявили, я уверена, специально, «интеллектуальный» конкурс на быстроту разжевывания пресных крекеров, не запивая их водой. Это было страшно унижительно – стоять, как дура, на сцене и давиться какой-то дрянью. Недовольство мною «педагогической общестственности» очень усилилось после того, как я написала два письма в «Комсомольскую правду» о необходимости в старших классов разделить учеников по интересам, естественно-научным и гуманитарным¹. По-видимому, было решено, что я чересчур критически настроена и не по чину умничаю (а это было очень большим преступлением). Я же была счастлива – мое имя дважды появилось в прессе, а главное, ко мне подошли

¹ Одно из писем см. в приложении.

двое учеников и поблагодарили за то, что я сформулировала их мысли. Наверное, впервые в жизни я почувствовала себя полезной.

Учителя-предметники были разные, хуже и лучше, но особенно ярких не было, а педагогом не был никто. Многие были несчастными людьми с поломанными судьбами. «Химичка», Циля Натановна Трахтенберг (у которой как-то вырвалось: «если бы не обстоятельства, не сидела бы я с вами»), как я потом узнала, пала жертвой борьбы с космополитизмом и была уволена из академического института. Географ, Евгений Андреевич Коровин, потерял всю семью в ленинградскую блокаду и был абсолютно одинок. «Биологичка», Анна Аркадьевна, приходила на уроки заплаканная, с синяками под глазами и в рваных чулках, у нее были скандалы с мужем. Математик-молдаванин Каушан говорил (и писал на доске) «условно примём» и «гвинт». Все преподавали достаточно скучно, без энтузиазма. «Англичанка», Минна Ефимовна, ни на одно слово не отходила от программы, но обижалась, что некоторым детям родители брали домашних учителей. Особенно нуден был «историк», человек очень знающий, но совершенно не умеющий интересно рассказывать и учитывать детское восприятие. Слушал его, по-моему, только Алик Габович (ныне доктор физических наук). Однажды Алик на уроке стал доказывать, что наше государство тоталитарное, – историк страшно возбудился, цвет его лица начал меняться с мертвенно белого на пунцово красный, и дрожащим, охрипшим голосом он почти истерично потребовал, чтобы Алик никогда и нигде этого не повторял. Специфично проходили уроки музыки – нас не учили нотной грамоте, не рассказывали об истории музыки или великих композиторах, не проигрывали музыкальные произведения. Все сводилось к пению, в основном советских патриотических и немножко украинских песен. Учителем был немолодой, сутулый, очень худой мужчина со злым остроносым лицом, ходивший в вышитой украинской рубашке. Чуть что, он срывался на визгливый крик и как-то обозвал одну девочку, подравшуюся на уроке с соседом, проституткой. Больше всего я ненавидела уроки физкультуры. Здоровье у меня было некрепким, я медленно бегала, была неуклюжа, со слабыми мышцами, быстро уставала. Забеги в Павловском садике, брусья, козел – все было страшной мукой. К тому же, приходилось выслушивать презрительные реплики детей, для которых эти уроки были праздником сердца: «и почему это все отличники такие хилые?».

Пожалуй, самой яркой в человеческом плане из наших учителей была преподавательница языка и литературы Лия Львовна Зайцева. Маленького роста, очень полная, напоминающая шар, без намека на шею, с залитыми назад и стянутыми гребнем коротко стриженными седыми волосами, с совершенно бесцветным лицом, она была ходячей иллюстрацией эпохи военного коммунизма и первых пятилеток. Верная и искренняя коммунистка, она изнутри горела революционным пафосом и проповедовала полный аскетизм, гневно пресекая у девочек любые признаки кокетства – завивку, косметику, шелковые чулки и кружевные воротнички. У меня с ней были две стычки. Я носила туго зачесанные волосы, сплетенные сзади в длинную косу, но после мытья головы надо лбом начинали

виться молодые волоски, образуя легкий ореол. Заметив это, Лия Львовна начала кричать на весь школьный коридор: «ты теперь не Катя, а Китти, я не хочу больше с тобой иметь дело». Мои возражения она не слушала. Во второй раз она набросилась на меня, заподозрив в том, что я крашу губы помадой. На самом деле, губы у меня просто обветрились и стали красными. Пришлось доставать носовой платок и демонстрировать свою невиновность. Но уроки она вела интересно, так как сама была энтузиасткой советской литературы, обожала Маяковского и своим энтузиазмом заражала и мою романтическую душу. Дожила она до глубокой старости, которая оказалась для нее нелегкой – она ничего не могла понять в современной жизни и поколении. Посмотрела бы она на сегодняшних раскрашенных, татуированных школьниц в мини-юбках!

Для меня неприятным моментом были изменения в характере и поведении моих одноклассников, связанные с половым созреванием. Детские взаимоотношения сменялись взрослыми, преподнося неприятные сюрпризы. Очень большую роль стала играть внешность. Казалось бы, какие могут быть проблемы у высокой, стройной, смуглой брюнетки с густыми волосами, черными бровями, яркими карими глазами, бархатной кожей и аккуратными чертами лица. Но проблем оказалось много. Мое поколение – послевоенные дети, в основном маленького роста. Я, имея 170 см и длинные ноги, то есть, по нынешним временам, почти модельную внешность, была на голову выше своих одноклассниц и, что важно, одноклассников. Поскольку считалось, что мальчик обязательно должен быть выше девочки, то с кавалерами, хотя бы для танцев, было туго. И мой рост, и мой размер ноги, на 2–3 размера превышавший «нормальный», были предметом постоянных насмешек и замечаний. Кроме того, у меня была сильная близорукость (в наследство от дедушки и мамы достались минус пять диоптрий), очки постоянно я носить стеснялась, что было страшно неловко и часто ставило меня в глупое положение и усиливало мою неуклюжесть. На уроках очки приходилось надевать, а они меня уродовали. Хороших оправ тогда не существовало, а у меня еще была дополнительная беда – небольшое расстояние между глазами, с которым выпускали только детские оправы. Подобрать что-то сносное было практически невозможно.

Но, конечно, главная проблема заключалась в моем характере, многие черты которого усложняли взаимоотношения со сверстниками. Если обратиться к классике, то была я типичная Татьяна, а не Ольга, а на Украине же всегда эталоном женской привлекательности были живые, кокетливые, круглолицые хохотушки. К тому же мне очень мешала моя сильная подростковая застенчивость и неуверенность в себе (многие принимали их за высокомерие и «воображение»), так как я себя постоянно чувствовала не такой, как все. Я стремилась к человеческому обществу, но мучилась, когда на меня обращали внимание, и мечтала оказаться в шапке-невидимке. Были у меня и классические «осложнения», присущие застенчивому человеку, – замкнутость, граничащая с грубостью резкость, вспыльчивость, ранимость, некоторая диковатость. Я совершенно не понимала, какая я. Насмешки сверстников убеждали, что я некрасивая и

нелепая, но почему тогда взрослые говорили, что я «режу глаза», и сравнивали меня то с египетской фреской, то с Наташей Ростовой. В 15 лет я стала замечать, что на меня оборачиваются на улице, что мальчики рядом со мной краснеют, а девочки поджимают губы. Одной из причин моей заниженной самооценки было то, что я не понимала, что такое зависть, просто потому, что мне она была совершенно не свойственна. Даже в детстве я считала, что каждый человек – неповторимая личность, со своими родителями, телом, характером, судьбой, талантами, и сравнивать себя с другими глупо. Чужая красота или талант вызывали у меня не раздражение и ненависть, а искреннюю радость, чего я ожидала и от других. Мне и в голову не приходило, что колкости, которые мне говорили, были вызваны не моими реальными недостатками, а недобрыми чувствами.

Уже в зрелом возрасте моя лучшая подруга, к которой я была всегда искренне привязана, хотя страдала из-за ее нередких подлостей и насмешек, как к сестре, призналась, что я «испортила ей все детство тем, что все говорили, какая я хорошенькая», что она меня ненавидела и всячески старалась высмеять и унижить в чужих глазах, делала мне много мелких и не мелких пакостей и что, «если бы не боялась, что там (на небе) что-то есть, то совсем бы меня уничтожила». Самым для меня непостижимым было то, что она была далеко не серой мышью, а хорошенькой, пикантной, умеющей «себя подать» (польская кровь), умной, способной, остроумной, живой и пользующейся большим успехом у противоположного пола. Каждый, самый незначительный успех, которым я, по наивности, спешила поделиться, будь-то новая кофточка, рисунок или стихотворение, оказывается, воспринимался как вызов, требующий немедленного ответа – тоже кофточки, рисунка или стихотворения, только лучше, чем у меня. Меня это удивляло, ставило в тупик и огорчало. Впоследствии мне не раз пришлось убедиться в том, что для того, чтобы вызвать зависть, совершенно не нужно быть лучше и успешнее завистника. Завистливый человек – это тот, кто не может перенести, когда кому-то просто хорошо, так как искренне уверен, что все на свете блага должны принадлежать только ему. Он купит бриллиантовое кольцо, но будет трястись от злости, увидев у знакомого пластмассовую бижутерию. Я знала женщину, которая порвала со своей подругой, брошенной любовником и родившей ребенка без мужа, так как не смогла перенести, что у нее теперь есть сын.

Мне было непонятно, почему родители моих подруг так пеклись об их материальном и социальном благополучии и совершенно не обращали внимания на неблаговидные поступки своих чад. Главное, чтобы дети были не хуже других и соблюдали общепринятые и поощряемые правила, что относилось прежде всего к внешней, показной стороне жизни, внутренние же недостатки как будто не замечались. Я множество раз слышала, как мамы и отцы вычитывали дочек за губную помаду или короткую юбку, а вот за зависть, злость, хитрость или нетерпимость – никогда. Если ребенок падал и расшибал себе лоб, мамаша ахала и начинала вокруг него суетиться, но если он смеялся над чьим-нибудь увечьем, замечания ему не делали, хотя, наверное, именно по этому поводу стоило бы прийти в ужас.

Сверстников отталкивала моя «правильность», которую они понимали, с моей точки зрения, весьма странным образом. В большинстве своем, люди руководствуются в своей оценке окружающих стереотипами, иначе, по-видимому, и невозможно, мы ведь не можем глубоко знать все обстоятельства чужой жизни. Они считали, что я правильна «по-советски» (другого они просто не знали), этакая отличница-подвижница (Алик Габович назвал меня Верой Засулич), мечтающая служить общественным интересам и следовать нормам общепринятой морали. Я же была типичной тургеневской девушкой, для которой и пионерия, и комсомол, и кодекс строителя коммунизма были страшным сном. Я была воспитана бывшими гимназистками и институтками и с молоком матери всосала определенные правила поведения, определенные взгляды на мир, в которых было много оторванного от реальности идеализма, что очень усложняло мне жизнь.

Мои одноклассники в целом были нормальными подростками, ставшими обычными людьми с обычными судьбами. В большинстве своем они жили в соответствии с проверенными временем житейскими установками, которым их научили умудренные опытом родители и окружающая среда. Считалось, мальчики должны были «зарабатывать на жизнь» и «содержать семью», для девочек же главное – «хорошо выйти замуж» и «быть хорошей хозяйкой», и для всех смысл жизни заключался прежде всего в семье и материальном достатке. Меня поражало, какую низкую жизненную планку предлагали их родители, и то, что они с этим соглашались. Не знаю, мечтали ли они когда-нибудь стать великими и знаменитыми, пробовали ли себя в разных видах творчества, науки, ремесла, но к концу школы все «сдались» и смиренно пошли по протоптанным их родителями дорогам. Возможно, в этом нет ничего плохого, но я от подобной «мудрости» чувствовала какую-то тоску, духоту и обреченность. Меня всегда тошнило от постулатов «мужчины любят...», «женщина должна...», «ребенка нужно родить для крепости брака», «после замужества с подругами надо порвать», «нельзя быть слишком умной», «женщина должна получать меньше мужа» и пр. Меня коробило от «мудрых» женских хитростей в семейных отношениях, которые, как мне казалось, исключали искренность, доверие, взаимопонимание и уважение к близкому человеку. Я не хотела прожить жизнь, где главное – это быт, а счастьем считается набор из мужа, детей, квартиры, машины, дачи. Я хотела иметь любимую профессию, которая помогла бы мне самореализоваться, и обязательно путешествовать по миру. Иными словами, я стремилась к «собственной» судьбе, соответствующей моей индивидуальности. Мне было страшно провести жизнь среднестатистической женщины, занимаясь с 9 до 6 нелюбимой, нетворческой работой, выйти замуж за серого обывателя, по вечерам лежащего перед телевизором с томиком детектива или военных мемуаров, и часами болтать с подругами о детях и магазинах. Я мечтала оказаться в среде людей, обладающих широтой мышления и интересом и яркой индивидуальностью

В детстве мне пришлось убедиться, какими разными могут быть «попадочные» обыватели и «хорошие семьи». Лишь очень немногие из них

были открыты для людей и излучали вовне свою любовь и благополучие. В основном, это были замкнутые на «своих» маленькие общины, которые рассматривали внешний мир как источник «питания» и опасности, где необходимо найти свою уютную, безопасную нишу. В таких семьях, отгороженных от «чужих» невидимой стеной, как правило, существовало много ритуальных проявлений взаимной любви, но во внешний мир веяло каким-то холодом. Попадая в их дома, я всегда ощущала свою чуждость и ненужность, прекрасно понимая, что стоит мне вызвать недовольство одного из них, и на меня набросятся все остальные, так как чувство справедливости им заменяет ложно понимаемая солидарность кровной стаи. Такие люди хотели, чтобы окружающие были такими, как они, еще лучше – менее счастливыми, но никогда не более успешными и не выделяющимися из общей массы и, не дай Бог, не выступающими против доминирующей идеологии и норм жизни. Всякие проявления независимого мышления и смелые высказывания вызывали ужас, желание держаться от такого человека подальше. Не принимались и те, кто мог составить конкуренцию. В таких семьях я пережила немало неприятных минут. Однажды я встречала вдвоем с подругой Новый год и осталась у нее ночевать, ее родители вернулись поздно ночью, когда мы уже спали. Утром я проснулась от звуков поцелуев и восхищенных возгласов – родители вошли в комнату и принесли детский сапожок, полный подарков. На меня никто не обращал никакого внимания, я лежала, сжавшись под одеялом, боясь пошевелиться и напомнить о своем присутствии, чувствуя себя такой лишней, никому не нужной, никем не любимой и неуместной. Я вообще стала замечать, что родители моих подруг от нашей дружбы не в восторге – я высказывалась слишком независимо, критически смотрела на мир и могла «сбить с верного пути» их чад.

Мои отношения со сверстниками усложняло отсутствие у меня телефона, мне позвонить никто не мог, а я должна была бегать через улицу к автомату, который часто был сломан, глотал монеты, и, к тому же, приходилось иногда выстаивать длинную очередь. Поболтать, как это принято между подружками, не удавалось. К себе я пригласить кого-то тоже не могла. Последние два года жизни, которые совпали с моими старшими классами, дедушка был лежачим больным. Обстановка в доме была невыносимая – одна из наших комнатенок была отдана дедушке, мне просто негде было даже спать, не говоря уже о занятиях, он все время что-то говорил, и дух болезни выветрить было невозможно. Мама, при ее болезни, еле справлялась с обязанностями сиделки и постоянно была уставшей и раздражительной. Поэтому было решено на время снять для меня комнату в частном домике во дворе. Это была маленькая полутемная комната, где стояли только железная кровать, табуретка и два ящика, имитирующие стол, единственное окно выходило на стену нашего дома и черную лестницу. Там я спала и делала уроки, ела дома. Всю первую ночь я проплакала, так как при выключенном свете под полом со страшным грохотом и писком бегали мыши, некоторые выползали наружу. Потом я к ним привыкла, но все равно чувствовала себя очень несчастной. Находиться там долго, особенно в свободное время и по выходным было

тяжело. Сначала я пыталась заходить к самым близким подругам и родственникам, где были «нормальные» дома и где я думала хоть как-то удовлетворить свою тягу к семейному уюту, наивно считая, что эти люди привязаны ко мне так же, как я к ним. Но скоро пришлось убедиться, что взаимности нет и что я должна соблюдать принятое в обществе расстояние. Больше всего я любила приходить к дедушке и бабушке, живших в тети Лялином доме. Это было таким праздником – не коммуналка, а две трехкомнатные квартиры на разных этажах, гостиная с эркером, спальня, кабинет, веранда, балкон, сад, настоящий дворец. Но их гостеприимством тоже нельзя было злоупотреблять. Тогда я стала просто гулять в одиночестве по улицам, а, когда уставала, садилась в троллейбус или трамвай с длинным маршрутом и каталась по городу. Моими друзьями оставались Киев, деревья, Днепр, композиторы и писатели. Они меня понимали, с ними можно было разговаривать, именно они были подлинной жизнью и, наверное, мое решение заниматься литературой было вызвано прежде всего желанием оставаться в их мире, подальше от того, что называют повседневностью. Когда я пыталась перенести в эту повседневность свои фантазии, кончалось это, как правило, плачевно или комично. В 16 лет, начитавшись Толстого, мы с Ирой решили, что и у нас должно быть «первый бал», и, к ужасу родителей, решили пойти на молодежный вечер во Дворец спорта. Курагин, Друбецкой, Безухов и Болконский, по-видимому, в этот день заболели насморком и не пришли, поэтому сначала меня пригласил белобрысый солдат в очень потертой гимнастерке, судя поговору, из какой-то нижегородской деревни, и спросил, «где я гуляю октябрьские». Потом меня заметил толстый, лысый саксофонист лет 36 – танцую со мной, он мерзко ко мне прижимался, обхватив липкими руками, и сказал, чтобы я ждала его у выхода. Чтобы от него удрать, пришлось добираться от гардероба до двери чуть ли не на корточках. Иру увязался провожать хлипкий, бесцветный парень в кепке, представившийся рабочим на стройке и сознавший, что всю жизнь мечтал встретить такую «скромную и некрасивую» девушку. На площади Победы нас встречал Ирин папа с их огромной овчаркой Нордом – молодой человек сказал, что папу с собакой он боится, и растворился в темноте.

Тяжело переживалась и моя первая любовь, разумеется, абсолютно безнадежная и безответная. Теперь, с расстояния 50 лет, я прекрасно понимаю, что юношеская любовь – это чувство, порожаемое исключительно возрастной внутренней потребностью и практически никак не оправданная своим объектом, который чаще всего – случайно подвернувшийся сверстник (или даже взрослый) из ближайшего окружения. Вспоминая своего «возлюбленного», я не могу найти в нем ни одной черты, кроме смазливой внешности, которая могла бы хоть в какой-то степени объяснить мою увлеченность. Как говорится, ни ума, ни сердца, но главное – не мой человек. (Увы, такими были и другие герои моих неудачных романов.) Но продолжалось эта одержимость долго, а все из-за особенностей моего характера – упрямства, упорства и привязчивости и «благородного» воспитания: ведь любовь должна быть одна на всю жизнь, ее нельзя предавать, лучше остаться одинокой и несчастной, но сохранить высокое

чувство. А чувство это, несмотря на то, что принесло мне много боли, неуверенность в себе и упущенные шансы с другими молодыми людьми, действительно было прекрасным. И красота его заключалась не столько в привязанности к другому человеку, сколько в обретении через него гармонии со всем окружающим, в особом творческом импульсе в отношении к миру.

В нашем классе образовалась компания из нескольких девочек и мальчиков, куда меня приглашать очень скоро перестали. По двум причинам: во-первых, я была ростом выше всех мальчиков, и мне прямо сказали – «для тебя здесь никого нет»; во-вторых, я была слишком «нравственной» и смущала своих более раскованных одноклассников. На самом деле, главной причиной была моя непохожесть на других, а таких не любят. Для меня юность была периодом не столько полового созревания, сколько созревания личности, попыткой разобраться в окружающем мире и себе. Бесмысленное «хождение» с мальчиками или подругами по улицам, спортивные игры и вечеринки с игрой в «бутылочку» меня не привлекали и казались просто потерянным временем. К тому же, как я убедилась, разговаривать с поклонниками-сверстниками (а такие все же были, и немало) было практически не о чем, сами они упорно молчали, а мои попытки начать разговор не поддерживали. Я их явно отпугивала и казалась им скучной. На приемлемые темы – школьные волейбольные матчи, сплетни и шмотки – мне говорить было трудно, я не увлекалась спортом, добывать дефицитные тряпки не имела возможности, а в сердечные тайны меня никто не посвящал. Единственными людьми, с которыми я могла говорить на все темы, были моя подруга Ира, Алик Габович и Сережа Гранат (хотя у нас была разница в возрасте 9 лет), которые много читали и многим интересовались.

Скоро я к своему огорчению поняла, что наши интересы с Ирой имеют разную направленность. Ира сама называла себя «интеллектуальным потребителем», а не созидателем. Ее интеллектуальные занятия были всего лишь времяпрепровождением и никак не соприкасались с реальной жизнью, где на самом деле ее главной целью были особи противоположного пола и все, что связано с их привлечением. Мы могли разговаривать часами, но ни на какую творческую деятельность подвигнуть ее было невозможно, она двигалась по жизни по инерции, ведомая исключительно сиюминутными эмоциями. Живой ум, способности, остроумие, тонкое понимание литературы – все пропало даром, не поддержанное волей, целеустремленностью и нравственной целостностью. Судьба ее оказалась банальной и достаточно несчастной, хотя сама она к концу жизни говорила, что в результате все мы получили то, что хотели. После школы она блестяще сдала экзамены на романо-германский факультет университета, но получила по сочинению 4 и не прошла. Ее отец попросил показать ему ее сочинение – там была одна лишняя запятая, но Ира уверяла, что она ее не ставила, во что я охотно верю. Без блата в такие места не пропускали никого, а блата у Иры не было. Была возможность с этими баллами, по протекции моего родственника Бори Ремизова, пройти на заочное отделение, но на семейном совете решили от этого отказаться, так как «девочка

должна пожить нормальной студенческой жизнью и найти себе хорошего мужа». Поэтому на следующий год Ира поступила в Политехнический институт, там блага у семьи инженеров-электриков было хоть отбавляй, да и женихов было куда больше, чем на гуманитарном факультете. Так Ира, как и многие другие девочки, приобрела нелюбимую специальность, в которой не преуспела и всю жизнь переходила с одной случайной работы на другую, – разные НИИ, конторы, а после перестройки (с легкой руки любовника) даже банк и медицинский диспансер. Замуж она вышла не по любви, а за «приличного» однокурсника, простоватого парня, явно не ее уровня развития, но казавшегося порядочным и надежным. Хозяйкой она была плохой, в доме не было чистоты и порядка, что трудно было вынести мальчику из военной семьи с мамой-домохозяйкой. К тому же начались измены с обеих сторон, и через пару лет после рождения сына пара рассталась. Пошла череда неудачных романов, последний, с пронырливым женатым человеком, моложе ее на 10 лет, длился почти 20 лет. Фактически, она стала содержанкой – это он устраивал ее на денежные работы типа «менеджера по психологическому климату в коллективе» или сотрудника банка, дающего кредиты под 90 процентов по жульнической схеме; это он, бывший комсомольский работник, устраивал ей стажировку за границей и покупал общую квартиру для встреч. И у Иры осталось две цели в жизни – сын и поддержание собственной внешности в товарном виде. Но книги и наши разговоры остались, хотя после моего переезда в Москву на мои письма она почти не отвечала (а в Киев я ездила по два раза в год). Иногда, из-за своей несобранности, она могла по полгода носить уже написанное письмо в сумочке, купить конверт и отправить было для нее непосильным подвигом. А впоследствии она просто отругала меня за «эгоизм» и незнание человеческой психологии: не писала она мне потому, что я описывала ей свою насыщенную московскую жизнь, казавшуюся ей, уже в советские времена склонной к «гламуру», «престижной» (модный институт, зарубежные конференции, обеды в Доме литераторов, знакомство с известными людьми), тогда как у нее ничего этого не было, и она не могла написать мне что-то столь же интересное. Меня это очень огорчало, ведь я всю жизнь относилась к ней как к близкому с детства человеку, а не как к сопернице, и не хвасталась своими достижениями, а просто делилась своими событиями и впечатлениями.

Ира умерла в 58 лет от рака. Первые симптомы болезни она заметила еще за три года до этого во время поездки с приятелями по Европе. К сожалению, меня она не послушалась, со свойственной ей пассивностью решив не ходить к врачам (если это не рак, то ничего страшного, если рак, то ничто не поможет), и упустила время. Все муки – три операции, химиотерапию с выпадением волос – она переносила мужественно, оставаясь верной самой себе: старалась все скрывать от знакомых, носила парик, если ей нужно было выйти на улицу по делам, наносила макияж и надевала на отекавшие ноги тесные туфли на высоких каблуках. Сексуальное начало, доминирующее в ее натуре, ничто не могло разрушить. В эти годы я часто ездила в Киев, стараясь хоть как-то помочь ухаживать за Ирой ее сыну Кириллу. Последние пять дней Кирилл, ее старшая сестра Нана и я

провели у ее постели в больнице. Ира была без сознания, держалась только на капельнице. Сердобольные нянечки посоветовали нам позвать священника, чтобы прекратить ее мучения и «отпустить». Священник пришел и сказал, что звать нужно было раньше и что теперь он сможет только прочесть над ней молитву. Невероятно, но через две минуты молитвы Ира очнулась, узнала нас и поняла ситуацию. Однако исповедоваться и причащаться отказалась, сказав «боюсь», после чего опять потеряла сознание, на этот раз окончательно. На похоронах не было ни одного из ее мужчин – бывший муж, вторично женившийся и живший в Москве, не приехал, а нынешний любовник, которому она запретила приходить в больницу, в это время уехал отдыхать в Крым. Не пришли и другие, ограничившись выражением соболезнования.

После окончания школы нужно было решать, что с собой делать. Способности позволяли мне выбрать любую специальность, но сердце лежало, несомненно, к гуманитарным профессиям. И объяснялось это прежде всего тем, что, занимаясь филологией, искусствоведением, философией или историей, я могла получить возможность уйти от неприятной мне окружающей действительности в иные миры, к другому мышлению и мировосприятию. Не исключались и дисциплины, связанные с природой, – биология, география. Легко дающаяся мне математика казалась слишком абстрактной, «игровой», не имеющей отношения к реальной жизни. Химию и очень в то время модную и престижную физику я не любила, они вызывали у меня тоску. Прикладные технические специальности были неприемлемы. Вообще у меня была склонность к «целостному» мышлению, все науки я пыталась вписать в общую картину мира, природы, истории, культуры. Эту целостность я видела только в гуманитарных науках, хотя и история преподавалась как набор разрозненных фактов, а не как единый процесс. Точные науки казались мне какими-то случайными и поэтому бессмысленными. Физика, химия – формулы, законы, не собранные в единую теорию. Я допытывалась у деда-математика: как связаны с реальностью интегралы и функции? Что такое наука, основанная на «условно примем»? Меня не понимали.

Но одно дело желания, другое – возможности. В 60-е годы в Киеве поступить в вуз без блата было практически невозможно, поэтому, за редким исключением, выпускники школы поступали туда, куда их могли устроить родители, в основном – на те же специальности. Мой папа не был связан с преподаванием, в Строительном институте у него знакомых не было. Муж тети Ляли преподавал в Политехническом и в Пищевом. Все приятели моих родителей были связаны с Политехническим. С Университетом были очень большие сложности – бывший аспирант моего дяди, Евгения Александровича Свечникова, занимал должность заместителя министра образования, но сказал, что в Университет никого устроить не может. Во время приема там существовало несколько «блатных» списков: ректорский и преподавательский. В ректорский входили протеже из высших партийных органов, министерств, КГБ, прокуратуры и МИДа; в преподавательский – дети преподавателей Университета. Исключения (для этого были специальные квоты) делались для отслуживших в армии,

членов партии и детей крестьян и рабочих (что было редкостью). Наиболее привлекательный для меня факультет романо-германской филологии особенно привлекал дочерей и племянниц высокопоставленных особ – престиж, языки, возможность работы за границей. Мои шансы поступить туда равнялись нулю.

Родители были категорически против моего гуманитарного выбора. Во-первых, они уверяли, что такие специальности связаны с идеологией и ими невозможно заниматься, не кривя душой. Во-вторых, гуманитариям очень сложно найти интересную работу, и я рискую всю жизнь мотаться почасовиком в школе или вузе или сидеть в библиотеке или издательстве на нетворческой работе. В-третьих, туда идет мало мальчиков, и я станусь старой девой. В пример мне ставилась судьба моей преподавательницы французского, Талочки, одинокой 40-летней женщины, зарабатывающей частными уроками. Мне пытались втолковать, что сначала нужно получить «крепкую» специальность, которая даст мне кусок хлеба, а потом можно заочно закончить для души что-нибудь гуманитарное. Но я ничего не желала слушать, меня тошнило от бытовых, практических соображений, я хотела, чтобы со мной говорили на моем языке – не о зарплатке и замужестве, а о призвании, деле жизни, самореализации. Я была романтически настроенной максималистской - и начала делать глупости. К ужасу родственников, я решила никуда не поступать после школы, а заработать двухлетний стаж, который давал преимущества при поступлении в университет, прежде всего на факультет журналистики.

С помощью одной знакомой мне удалось устроиться корректором в научное издательство, где ежедневно по восемь часов я правила непонятные мне тексты в компании десятка таких же несчастных. Среди них была пара временно попавших туда молоденьких девочек (с Ирой Сапожниковой мы остались приятельницами на всю жизнь), но в основном это были одинокие женщины среднего возраста с высшим образованием, не устроившие свою профессиональную и женскую судьбу. Все они были подавлены, унылы, озлоблены, разочарованы в жизни и с презрением слушали наши с Ирой разговоры о поэзии и планах на будущее, посмеиваясь над нашей юношеской наивностью. Главной их мечтой было замужество, и вся их энергия направлялась к этой цели. Одной из них, филологу-украинисту, удалось подцепить пьющего слесаря-сантехника, что тут же вызвало осуждающе-завистливое шипение сотрудниц. Другой, краснолицей Рите, пределом мечтаний которой была поездка в дом отдыха в Сочи, еврейская община нашла престарелого холостяка, но помолвка сорвалась, несостоявшаяся невеста ходила заплаканной два месяца. Начальницей над всеми была бойкая, очень вредная дамочка-разведенка, которая пристально следила, чтобы никто не поднимал голову от верстки, и кричала, если кто-нибудь сворачивал работу за три минуты до окончания рабочего дня.

В этом обществе, не имея никакой молодежной компании, я провела почти год. Моя подруга Ира, не поступившая в Университет, в это время работала секретаршей в архитектурной организации. Все одноклассницы поступили туда, куда их устроили, в основном – в Политехнический, Строительный и Институт народного хозяйства, и вели обычную

студенческую жизнь. Первой сдалась Ира, родителям удалось уговорить ее, что нужно жить, как все нормальные девушки, второй, к моему стыду, сдалась я. Наглядный пример моих коллег по корректорату меня напугал гораздо сильнее родительских абстрактных увещеваний. И мы обе подали документы в Политехнический, туда нас «впихнуть» родители смогли. Но нужно сказать, что особых усилий и не понадобилось, экзамены мы сдали хорошо. Иру устроили, разумеется, на электротехнический, на модную кибернетику, поближе к ее работавшей на кафедре сестре Нане, а меня, поскольку я была «ничья», определили на измерительные приборы. Если на других престижных факультетах было много детей из «элитных» семей, то в моей группе оказались все «простые» – ребята, отслужившие в армии, провинциалы, почему-то в большинстве своем имевшие птичьи фамилии. Близко сдружиться ни с кем у меня не получалось.

Первый семестр прошел достаточно гладко, в нем читались общие дисциплины – высшая математика, химия, физика. Все это мне давалось легко и было даже интересно, особенно математика. В зачетке у меня стояли только пятерки и четверки. Но во втором семестре начались специальные технические дисциплины, повергнувшие меня в ужас, великую тоску и уныние. Это было настолько скучно, неинтересно и противно, что перспектива заниматься этим всю жизнь казалась мне полным крахом. Тем более, никакой «студенческой» жизни, компаний, кавалеров у меня не было, и такая жертва ничем не оправдывалась. На меня оборачивались в институтском парке и в коридорах, но никто не подходил знакомиться. Мне вообще никогда не нравилось, когда интересовались исключительно моей внешностью – я была интеллигентной занудой и хотела, чтобы во мне ценили неповторимую личность. Наверное, это отпугивало потенциальных кавалеров, которые прекрасно чувствовали мою строгость. И я решила на шаг, который все считали безумием, но который оказался одним из самых правильных поступков в моей жизни, – ушла из института. Факультет был потрясен, меня вызывали на собеседование в деканат – никто не верил, что хороший студент может ни с того ни с сего все бросить и уйти в никуда, тем более с целью негарантированного нового поступления, да еще на непрестижный гуманитарный факультет. Все просили меня назвать «истинную причину».

Психологические последствия этого были для меня очень тяжелыми. Поняли меня только два человека – мама, всегда хотевшая, чтобы у меня была интересная творческая работа, и ленинградская папина кузина, тетя Ася, доктор химических наук, для которой профессия была главным в жизни. Версии остальных поражали меня своей нелепостью – не смогла одолеть точные науки (на самом деле у меня были только хорошие оценки, а по высшей математике и химии – пятерки), не хочет учиться, думает, что работать легче, хочет выйти замуж и стать домохозяйкой, наверное, в институте у нее был неудачный роман. Все очень жалели мою маму – какой ужас, такая дочь! Я убедилась, что, когда люди кого-то обсуждают, то прежде всего характеризуют не человека, о котором чаще всего ничего толком не знают, а самих себя и свое представление о жизни. Многие смотрели на меня просто как на сумасшедшую, называли дурой и

странной. Над моими планами поступить на гуманитарный факультет и стать литературоведом смеялись. А я ведь была молоденькой ранимой девочкой, и такой остракизм и одиночество были не по моим силам. Я замкнулась, изменилась даже внешне, из меня как будто ушла радость жизни, я погасла, но в конце концов собралась и решила, раз уж мне предстоит прожить еще несколько десятков лет, буду делать то, что считаю нужным, не обращая ни на кого внимания, и будь что будет. Моему подавленному состоянию способствовало и неожиданно пришедшее ко мне откуда-то изнутри интуитивное предвидение, что я обречена всю жизнь быть одинокой, непонятой, нелюбимой и бездетной. Это «озарение» настолько подействовало на меня, что я впала в настоящую трехдневную депрессию – не вставала с дивана, не ела, не разговаривала, ничего не чувствовала и не имела никаких желаний. Я не думала даже о смерти, так как умереть было тоже желанием и действием, а на них у меня не было сил. Испуганная мама бегала к психиатру, но от нее просто отмахнулись и посоветовали меня выпороть. Тогда о психотерапевтах никто и не слышал.

Поступать я решила все-таки на романо-германский, но на вечерний, это было легче. Подстраховать меня на экзаменах обещал, если у него будет такая возможность, мой четвероюродный брат, Боря Ремизов, преподаватель зарубежной литературы на этом факультете, куда устроить меня он никак не мог (на его просьбу декан просто рассмеялся). До экзаменов он же определил меня на несколько месяцев в университетскую библиотеку, где меня нещадно гоняли по книгохранилищу со стопками книг. Среда там была аналогичная корректорату. Несколько раз нас посылали в книгохранилище уничтожать списанные книги, выносить их было строжайше запрещено, хотя в основном это были устаревшие брошюры по техническим специальностям.

Экзамены я сдала на все пятерки и поступила, но потеряла в целом четыре года (еще один год ушел на отмененный затем одиннадцатый класс). Год я училась на вечернем, а потом знакомый зам. министра перевел меня на дневное отделение, поставив условие – сдать обе сессии на одни пятерки, так как это единственное законное основание для перевода, а он не может нарушать правила. Это для меня труда не составило. Но какво же было мое удивление, когда в своей новой группе я обнаружила двух девочек, поступивших со мной на вечернее отделение, но через две недели куда-то исчезнувших. Их перевели сразу же, причем, подписывал приказы тот же зам. министра, что неудивительно – отцы обеих, как я потом выяснила, были начальниками провинциальных КГБ.

На моем потоке «случайных» студенток не оказалось, как и вообще на этом факультете. Дочки первых и прочих секретарей ЦК, племянницы и дочки проректоров и их однокурсников, дочки генералов, дипломатических работников, спортивных боссов, университетских преподавателей и целый отряд дочек кэзэбэшников. Но нужно сказать, что, за исключением нескольких уж очень наглых высокопоставленных инфант, уверенных, что этот мир существует исключительно для них, все они были обычными девочками, особенно не задумывавшимися над подобной ситуацией, – таковы были нравы в стране, и для них они казались нормой. Преподаватели

«все понимали», но молчали, и тоже жили «по правилам». 17 лет и 21 – большая разница в возрасте, поэтому я сблизилась только с одной однокурсницей, Витой Добряк (в замужестве Калужной), которая привлекла меня своей скромностью и серьезностью. Ее отец был представителем от Украины в ООН, и она каждое лето на несколько месяцев уезжала к родителям в Женеву. Ее рассказы о заграничной жизни и поездках по Европе звучали для меня как сказка. На последнем курсе, перед распределением, у нее появился кавалер, как и у некоторых других моих однокурсниц с влиятельными отцами, с соседнего переводческого отделения нашего факультета (туда принимали только мальчиков), но она не заблуждалась в искренности его намерений и ухаживания отвергла. Всю жизнь она проработала на зарубежной кафедре в Академии Наук, преподавала аспирантам английский язык, написала несколько школьных и аспирантских учебников, а вышла замуж за обычного инженера², что нетипично для женщин ее круга. Своих детей, Глеба и Маню, Вита с рождения учила английскому, разговаривая с ними только на этом языке (об этом опыте даже написала книгу). К глубокому сожалению, ее сын погиб в 25 лет в автокатастрофе – ехал в такси с документами на стажировку в Англии после окончания ординатуры в медицинском вузе. А Маня, психолог по образованию, уехала в Европу.

Студенческие годы – занятия, чтение в библиотеках – все это на университетском пятачке на бульваре Шевченко. Наш факультет размещался в здании бывшей мужской гимназии на бульваре, где учились Паустовский и Булгаков, через шевченковский сквер переходили на некоторые лекции в основное красное здание, по бокам которого располагались университетская и академическая библиотеки. Недалеко – Владимирский собор с васнецовской Божьей матерью. Учиться я любила, твердо решив заняться литературой, поэтому перечитала, наверное, все книги по литературоведению, которые были тогда доступны. Преподаватели были разные, много хороших, старой школы. Литературу преподавали Якимович, Розанова, Шахова, Ремизов, Пашенко, Илличевский, лингвистику – Тищенко, Раевская. Последние были самыми яркими профессорами. Молодой и красивый Тищенко обладал энциклопедическими знаниями и говорил на нескольких языках, в том числе и экзотических. Читал он очень интересно, его лекции никто не пропускал, и все девочки были в него тайно влюблены. Он же дополнительно вел факультатив итальянского языка, куда я с удовольствием записалась, так что и сейчас в Италии могу кое-как объясниться. Раевская была пожилой интеллигентной дамой, до 40 лет занимавшаяся химией, а потом ставшая профессором-англистом (кстати, кузина Реформатского). Она была чрезвычайно требовательна, и все ее страшно боялись. Подозреваю, что из-за старческих проблем с памятью она запомнила только мою фамилию, потому что начинала занятия словами: «Comrade Stetsenko, go to the blackboard». Самыми неприятными были преподаватели по идеологическим дисциплинам, особенно по истории КПСС. Как правило, это были хитроватые и беспринципные

² Умер в 2019 г.

деревенские парни, смекнувшие, как можно сыграть на своем пролетарском происхождении и бесхлопотно сделать партийную карьеру. Разумеется, страдавшие комплексами, недолголюбивающие слишком умных интеллигентов и считающие себя солдатами партии. Помню, как один из них на экзамене всегда с садистским удовольствием задавал «провокационный» вопрос – какой в СССР верховный орган власти? Доверчивые студенты почти всегда честно отвечали, что ЦК КПСС, потому что так оно и было в реальности. Но формально таковым считался Верховный Совет, и оценка слетала на два балла вниз. Я горжусь двумя единственными четверками, полученными в университете, – по истории КПСС и по советской украинской литературе (кроме вполне приличных авторов, там было много конъюнктурных партийных графоманов, на которых я просто пожалела времени).

Первую курсовую работу я писала с большим увлечением, темой были пьесы Бернарда Шоу. И получила абсолютно незаслуженный удар. Наш преподаватель Илличевский был большим позером и хвастался тем, что ему как профессионалу ничего не стоит с первого взгляда определить, самостоятельная ли перед ним работа или компиляция чужих мыслей. Взяв в руки мой текст, а он действительно был плодом моих многочасовых размышлений, Илличевский, театрально пролистав несколько страниц, небрежно произнес «компиляция» и отбросил его от себя. Я, совершенно опешив, попросила хоть каких-то объяснений, что вызвало только гнев, – ведь я позволила себе усомниться в правоте преподавателя. Следующую курсовую для Илличевского о новеллах Голсуорси я писала уже с чувством страха, безнадежности и отчаяния. И когда он попросил прочитать мой текст перед всем курсом, шла как на эшафот. Когда я закончила чтение и ожидала насмешек и разгрома, он, выдержав паузу, спросил у аудитории «ну, как?» и разразился похвалами. После пары он сказал, что я одна из двух лучших студенток в его жизни и он не понимает, «как меня раньше не заметил». Удачной оказалась и моя работа для Т.К. Якимович об иллюстрациях Р. Кента к Мелвиллу, она сказала, что у меня есть интеллект и подарила свою книгу. Мою следующую курсовую о символике в современном американском романе я писала для Тамары Наумовны Денисовой, читавшей у нас курс современной американской литературы. Моя работа ей так понравилась, что она пообещала всегда мне помогать, если я захочу и дальше заниматься литературоведением.

Преддипломную практику мы проходили в разных местах, меня почему-то послали в Лавру, где я должна была якобы водить группы иностранцев на английском языке. Но все такие группы приезжали со своими экскурсоводами, и я сопровождала только соотечественников. Работа оказалась нудной и монотонной, особенно я уставала несколько раз в день спускаться в темные, сырые пещеры. Не знаю, почему, но я понравилась директору музея (он был слепым и мог составить обо мне впечатление только по голосу), и он предложил мне прийти к ним на работу после окончания университета, чем я естественно не пожалела воспользоваться.

Я закончила университет с красным дипломом и со всеми государственными экзаменами «*sum laude*», что никаким образом не повлияло на

мою судьбу. Я имела право сразу же, без двухлетнего стажа, поступать в аспирантуру, и мне дали направление, но таковой для меня просто не существовало. И на нашем факультете, и в академическом институте литературы места в аспирантуру открывались только тогда, когда на них был заранее известный претендент. В университете это была дочка декана, в Академии – моя однокурсница, дочка академика и бывшего секретаря ЦК по идеологии. Дочки нынешнего первого секретаря и секретаря по идеологии, которые, не будучи отличницами, формально не имели права сразу поступить в аспирантуру, остались в университете на специально придуманных для них должностях стажера-исследователя, получив Якимович в качестве руководителя. Остальные мои однокурсницы устроились в соответствии с возможностями своих родителей и родственников – остались преподавать в университете, уехали переводчиками на работу, получили «запросы» из академических институтов. Для меня же осталось официальное распределение учителем в Херсонскую область.

Не могу сказать, что мои преподаватели восприняли это как должное и не пытались мне помочь. Илличевский сокрушался и обещал мне позвонить, если появится какая-то возможность меня трудоустроить. Якимович посоветовала заняться лингвистикой, так как в литературоведении мне никогда без связей не пробиться. Зав. кафедрой английского языка даже прослезилась из-за того, что такие люди оказываются на улице. А преподавательница французского прямо у меня спросила, так как «теперь спросить уже можно», – как вы сюда вообще попали? Я думаю, что кому-то из факультетского начальства я обязана весьма странным происшествием, которое случилось на пятом курсе на одном комсомольском собрании. Перед студентами выступала старая большевичка, когда-то бывшая на факультете парторгом, я ее никогда до этого в глаза не видела. Свою речь она закончила (перед пением Интернационала) призывом принять в партию достойных комсомольцев, например... и назвала мою единственную фамилию. Я остолбенела, все повернулись ко мне, некоторые с весьма недобрými взглядами, решив по-видимому, что я таким образом хочу сделать карьеру. Наверное, так мне хотели дать единственный шанс – мое поступление в партию могло послужить поводом оставить меня в университете. Разумеется, с моей стороны не последовало никакой реакции. Я была убежденной противницей советской власти, и воспитание и чувство чести не позволяли мне торговать своими взглядами ни за какие блага.

Волею случая, муж моей тети Ляли, Николай Ильич Черняк, лежал в кардиологическом отделении больницы в одной палате с директором средней школы, племянница которого собиралась поступать в КПИ. За предложенную Николаем Ильичем помощь он согласился сделать на меня запрос в свою школу, находящуюся в одном из спальных районов. Так я оказалась учительницей английского языка в младших, средних и старших классах. Коллеги встретили меня весьма недоброжелательно, прямо сказав, что я тут никому не нужна, так как ко мне отошли их дополнительные уроки, за которые они получали доплату. Педагогического призвания у меня явно не было, школу как институт я не любила, к тому же страшно раздражали многие учительницы, малокультурные крикливые тетki, да и

времени, после проверок заданий и продленки, на мою цель – занятия литературой – совсем не хватало. С неусидчивыми мальчишками мне трудно было совладать (в мой класс попал толстый мальчишка дебильного вида с явными психическими отклонениями, который посреди урока ложился на спину в проходе между партами, визжал и стучал ногами). Из пятого класса запомнилась одна милая старательная девочка, дочь школьной уборщицы. А в девятом классе уже сидели размалеванные наглые девицы и грубые, курящие и совершенно неуправляемые парни, которые тоже считались «детьми». Многие из них были крайне циничны, учиться не хотели и считали всех взрослых и все общество лживыми, и были в целом правы. Трое из них как-то сбежали с уроков на пляж, захватив выпивку и курево, и меня послали их искать по домам. Один из родителей на меня наорал чуть ли не матом, что это не его, а моя обязанность следить за «ребенком». Так что я сбежала через год в отдел информации одного академического института, куда меня смог устроить знакомый.

У меня сложилось впечатление, что ОНТИ были созданы в институтах для того, чтобы ссылать туда ни на что другое не годных сотрудников (уволить кого-то в советское время было практически невозможно). Трудно было понять, чем они там занимались. В первые дни я все ждала, когда мне дадут работу, и в конце концов ко мне подошла заведующая группой (весьма злая и вульгарная молодая дама) и с вопросом «кто вас сюда устроил?» заявила, что я сама должна ходить по отделам и спрашивать, не нужно ли кому-нибудь что-нибудь перевести. (Вообще киевские нравы были таковы, что в любом учреждении прежде всего спрашивали «кто вы такая», имея в виду, кто вас прислал и кто за вами стоит. И принимали соответственно. Без блата нельзя было устроиться даже дворником.) Скоро заведующим ОНТИ назначили проштатившегося райкомовского работника, серого функционера, который стал наводить свои порядки.

Все эти работы я рассматривала как временные пристанища на пути к главному в моей жизни, и с первых же дней после окончания университета начала искать способы заняться наукой о литературе. Якимович напомнила мне, что я произвела хорошее впечатление на Денисову, и посоветовала обратиться к ней. Очень стесняясь, я решила позвонить. И Тамара Наумовна назначила мне встречу и с радостью пообещала помочь, оказавшись единственным человеком, который отнесся к неписанным законам советского бытия не покорно и равнодушно, а с деятельным возмущением. Вместе с ней мы выбрали «достойную» тему, то есть не идеологически проходную, а действительно для меня интересную, связанную с поэтикой и философией – о проблеме художественного времени в американском романе. Поскольку Тамара Наумовна как младший научный сотрудник не могла руководить кандидатскими диссертациями, то пообещала, что попытается уговорить заведующего их отделом Дмитрия Владимировича Затонского стать моим формальным руководителем и устроить меня в институт соискателем. Позже она мне рассказала, как проходил их разговор. Затонский, конечно, в восторг не пришел, меня он не знал, и я для него была никем и лишней обузой. Тамара Наумовна без

стеснения отругала его за то, что он берет высокопоставленных девиц (имея в виду мою однокурсницу), отцы которых могут провести его в академики, а действительно способные люди остаются из-за таких, как он, за бортом. Это подействовало, мне удалось прикрепиться соискателем к институту, Тамара Наумовна стала моим наставником, причем совершенно бескорыстно, ведь даже ее имени на моем автореферате не было, а Дмитрий Владимирович читал только окончательные версии моих глав.

В Институте литературы же я сдала все экзамены на кандидатский минимум, встретив при этом неожиданные препятствия. Везде, где я работала, и в школе, и в академическом институте, мне не хотели давать направления на экзамены, ссылаясь на то, что они совершенно не заинтересованы в моей диссертации, так как она не по их профилю. На самом деле, как я подозреваю, мои начальницы думали, что я хочу защититься, чтобы со временем занять их место.

Писала я диссертацию следующим образом. Первую половину рабочего дня (а в институте была пропускная система, и нужно было отмечать вход и выход) я выполняла дневную норму переводов технических текстов, а вторую половину, имитируя занятия переводами, читала свои книги, которые лежали открытыми в выдвинутом ящике стола. После окончания работы я глотала принесенные из дому бутерброды и ехала в академическую библиотеку, где сидела до ее закрытия. Многие книги по современной американской литературе были только в московской Библиотеке иностранной литературы, откуда можно было выписать по межбиблиотечному абонементу одновременно 5 книг, и читать их можно было только в читальном зале. Абонемент работал в будние дни только до 5 часов, так что получать и сдавать книги приходилось в обеденный перерыв. (Это вызывало подозрения у моих сотрудников, считавших, что я хожу в библиотеку «ловить женихов»). Отношение ко мне мужской половины института меня крайне раздражало. Я вызывала несомненный интерес, но определенного рода – дошли слухи, что меня называют «эта с ногами». Длинные ноги, стало быть, были моим главным достоинством.) Часть отпуска я специально проводила в Москве, чтобы поработать в библиотеке, останавливаясь у своих родственников-стариков.

Диссертацию я написала и, несомненно, бы ее защитила, но дальше мои перспективы были достаточно мрачные. Все эти годы Тамара Наумовна пыталась устроить меня к себе в институт, хотя могла я рассчитывать только на должность технического секретаря отдела. Никаких свободных единиц не предвиделось. Надежда была только на то, что нынешняя секретарша писала диссертацию, и в случае защиты ее были обязаны перевести на должность научного сотрудника, а я могла попасть на ее место, и в дальнейшем, защитившись, также оказаться научным сотрудником. Но эта дама так ничего и не написала, и много лет еще оставалась секретаршей. С моей же работы меня, по закону, должны были уволить, так как кандидатов наук нельзя было держать не на научной должности. Опять тупик, опять невозможность посвятить себя любимой профессии. Да и личная жизнь никак не складывалась, с поклонниками мне фатально

не везло, как будто судьба выбрала для меня другой путь и не давала, причём очень порою жестко, с него свернуть.

В 1973 году, на свадьбе Сергея Хотяинцева, я возобновила знакомство с «Вовой московским», к тому времени кандидатом филологических наук, работающим младшим научным сотрудником в Институте востоковедения РАН. У нас нашлось много общих интересов, мы переписывались три года (год из них он провел переводчиком на выставке в Японии, откуда привез мне почти целое собрание сочинений У.Фолкнера на английском языке), летом 1976 года мы решили пожениться.

К тому времени я уже жила не на Тургеневской, а на площади Т.Шевченко. Преимуществом новой квартиры было то, что с балкона был виден лес (он был через дорогу), можно было по выходным гулять по сосновому бору, ездить на трамвае на озера. Я прожила там всего год, мама – 4, папа – 8. Родным домом эта квартира не стала. Все самое дорогое мне на Украине было уничтожено – дом на Тургеневской, теткин дом на Половецкой, Балыки. Из старых мест пока остались только квартира Иры Ермаковой, которую ее сын перестроил на современный лад, и большая квартира Хотяинцевых в доме Морозова рядом с университетом.

Уезжать было очень тяжело, я была привязана к Киеву, хотя мне не нашлось там достойного места. Подобно Булгакову (нахальное сравнение, но у нас с ним еще были наследственные почечные болезни), в 30 лет я покинула киевские овраги и весны и отправилась в Москву, в чужой, огромный город, в чужую семью и в полную неопределенность, имея за душой только неотшлифованный текст диссертации. Но, в отличие от Булгакова, в Киев я приезжала по два-три раза в год, после смерти родителей – не менее одного раза, обычно на майские праздники, когда цветут каштаны, яблони и сирень в Новом ботаническом саду.

Поскольку Вова с родителями жили в двух смежных комнатах у Сокола, три года нам пришлось снимать сначала трехкомнатную квартиру в Беляево, потом однокомнатную – на юго-западе. С хозяевами второй квартиры произошел забавный казус – когда мы при первом знакомстве дали им свои паспорта, мужчина захохотал и показал мне свой паспорт на имя Стеценко Николая Александровича, кстати, его дочку звали Катей. Прямо по Ильфу и Петрову – здравствуй, брат Коля! Бывают же такие совпадения.

Я приехала в совершенно чужой город, где единственными моими знакомыми были 90-летний вдовец бабушкиной кузины, Сергей Владимирович Левиз (сокращенно от фон Левиз оф Менар) с компаньонкой Мартой, мамина четвероородная сестра-пенсионерка Алла Леонидовна Иванова, родители моего мужа и его тетка, Ирина Владимировна Мыльцына. Сергей Владимирович и Марточка были очень милыми стариками, импониравшие мне своей старорежимностью. Сергей Владимирович – в прошлом царский офицер, женившийся на кузине моей бабушки Самойлович. После революции, сняв погоны и сократив баронскую фамилию, он осел в Москве и затаился на какой-то бухгалтерской должности. Его жена, Татьяна Николаевна, была очень музыкальна и устраивала «музыкальные четверги», на которые приходила и дочь армянского композитора

Спиндиарова. Как-то она поехала в Ереван на юбилей отца и там сказала что-то не то, ее арестовали, а заодно и всех, кто значился в ее записной книжке. Сергей Владимирович 10 лет отсидел в Казахстане, а Татьяна Николаевна умерла от голода по дороге в ссылку. После смерти этих стариков моим близким человеком стала Татьяна Григорьевна Луганская, перешедшая мне в наследство от общества старых московских интеллигентов, собиравшихся в доме Левизов (среди них были и Араповы, потомки Натальи Николаевны Гончаровой по линии Александры Ланской). Судьба Тани, женщины доброй, деликатной и заботливой, сложилась очень тяжело. Выпускница исторического факультета МГУ, она работала в Музее изобразительных искусств, в ТАСС, в райкоме, вышла замуж и быстро овдовела, детей не родила, ухаживала за всеми стареющими родственниками, а под конец жизни за 90-летней мамой. На пенсию ей пришлось уйти рано из-за опухоли в колене и неудачной операции, сделавшей ее инвалидом. Я, как могла, ее поддерживала, мы созванивались каждый день, делиясь новостями.

Мне нужно было устраиваться на работу, и мое трудоустройство целиком зависело от Вовиной мамы, Зинаиды Владимировны Удальцовой. Велись поиски, но никакие предложения не поступало, и я сидела дома за машинкой, завершая диссертацию. Кое с кем из московских американистов я была шапочно знакома, так как в 1975 году, с подачи Денисовой, приезжала на конференцию на факультете журналистики, которую устраивал его декан Ясен Николаевич Засурский, но личных контактов не имела.

Зимой 1976 года Зинаиду Владимировну избрали членом-корреспондентом АН СССР (тогда она была зав. сектором Византии в Институте всеобщей истории). В советское время академики и член-корры считались элитой и номенклатурой, им полагались квартиры и распределители, в том числе еженедельные «заказы» в специализированной столовой на Ленинском проспекте. Социальный вес их был велик, особенно в Академии, ведь они обладали правом голоса на академических выборах. Банкет по поводу избрания, который свекровь устроила совместно с вновь избранным академиком Бромлеем (внуком Станиславского), был моим первым московским выходом в свет. Неожиданно для себя я имела большой успех, так что даже жена Бромлея, Наталья, посоветовала своей дочери держаться поближе ко мне в надежде, что ей может перепасть кто-то из моих поклонников(!?) (со временем Елена вышла замуж за англичанина и стала матерью талантливого сына-певца, естественно, без моей помощи). Это вызвало у меня внутренний смех, но я поняла, что существует среда, вкусам которой я соответствую больше, чем на своей родине.

Возможности и авторитет Зинаиды Владимировны значительно расширились, и один из чиновников Академии, митивший в ее члены, предложил свекрови устроить меня в Институт мировой литературы. О том, чтобы стать сразу научным сотрудником (а не секретаршей с неясной перспективой или переводчиком) в ведущем институте по моей специальности, я, естественно, никогда и мечтать не могла. Мечты об английском престоле были для меня не менее реальными. Это было элитарное

заведение, куда во времена «застоя» случайным людям попасть было очень сложно. Там работали Аверинцев, Гаспаров, Палиевский, Урнов, Мелетинский, Виппер, Олег и Александр Михайловы, Кожин, Балашов и многие другие корифеи науки о литературе, кроме того институт пользовался популярностью у получивших филологическое образование детей писателей и номенклатуры. Работали там и талантливые люди, «сами себя сделавшие», но, как правило, они закончили МГУ, долго работали в Москве, печатались и сумели себя зарекомендовать. Я же была в начале пути, «из провинции», и никто меня не знал. Разумеется, свободных вакансий не было, и для поступления туда на работу должна была быть выделена специальная единица сверху.

С одной стороны, это было для меня необыкновенным счастьем, с другой – я понимала, что в этом есть элемент наглости, я становилась в один ряд с нелюбимыми мною блатными девицами, поэтому попросила свекровь, чтобы меня устроили сначала простым техническим работником (с тем, чтобы после защиты со временем заслуженно перейти в научные сотрудники). Она очень удивилась и меня просто не поняла. Ситуация несколько смягчалась тем, что моим руководителем формально был Затонский, а он за год до моего приезда в столицу жил в Москве и был заведующим зарубежным отделом – однако квартиру ему так и не выделили, отношения с новым директором Ю.Я. Барабашом не сложились, и он вернулся в Киев. Мое устройство длилось довольно долго, я ходила на собеседования к Барабашу, потом его сменил и.о. В.Р. Щербина, потом присланный из ЦК Г.П. Бердников (Собакевич партийного разлива). Особенно меня удивил разговор с Барабашом, который сказал, что не может мне обещать большую зарплату, квартиру и заграничные поездки (интересно, за кого он меня принял?), хотя я согласилась бы с превеликой радостью мыть в ИМЛИ полы, причем даром. Наконец в мае 1977 года я стала младшим научным сотрудником Отдела зарубежных литератур, точнее, американской группы «капиталистического» сектора. Отделом заведовал Николай Иванович Балашов, нашим сектором – его однофамилица Тамара Владимировна Балашова, группой – на общественных началах декан факультета журналистики, профессор Ясен Николаевич Засурский. В американскую группу входили Майя Михайловна Коренева, Алексей Матвеевич Зверев, Татьяна Леонидовна Морозова, Сергей Александрович Чаковский (сын писателя), параллельно со мной, тоже со своими единицами, пришли Александр Владимирович Ващенко (родившийся в Америке сын военного атташе) и Андрей Михайлович Шемякин (сын известного покойного академика-химика).

Итак, я попала в ту среду, в которую всегда стремилась, в среду московских интеллигентов-гуманитариев, профессионалов, где я могла надеяться на то, что меня воспримут адекватно, где я, наконец, стану «своей». Я устала быть всегда белой вороной. Меня очень беспокоило, смогу ли я соответствовать высокому профессиональному уровню, ведь я была во многом «кустарем-одиночкой», оторванным от научной среды. Очень ограниченным был и мой опыт «светского» общения. Надежда была на то, что интеллигентные люди всегда доброжелательны и готовы видеть в

окружающих лучшие качества (а уже затем разочаровываться, если человек оказался недостойным). Все оказалось гораздо сложнее.

Встретили меня далеко не с распростертыми объятиями. С моей точки зрения, моя история выглядела так – серьезная девочка из интеллигентной семьи, получившая красный диплом, по независящим от нее объективным обстоятельствам не смогла поступить в аспирантуру, но все же написала диссертацию и благодаря повороту судьбы получила, наконец, возможность заняться любимой профессией в соответствующем институте. Однако, как я и предполагала, с точки зрения моих коллег, это выглядело иначе – наглая провинциалка выскочила за москвича, родители которого сумели ее по блату впихнуть на место, которого она не заслуживает. Никто не был против таких же «блатных» Ващенко и Шемякина – их знали, они учились в МГУ, они были «своими». Меня же никто не спросил, где и как училась я, да это было и неважно, так как, по мнению москвичей, серьезное образование можно было получить только в Москве или Ленинграде. Никто не поинтересовался, почему я оказалась соискателем у Затонского – и так все понятно, он любитель смазливых барышень. Абсолютный парадокс – дети московских профессоров, жизнь которых скользила, как по маслу – гарантированное поступление в университет, аспирантура, ИМЛИ – считали выскочкой человека, никогда не имевшего никакой солидной поддержки. «Мы вас не знаем.» А как можно было меня знать, если я училась в другой республике, в другом городе? У меня не было публикаций, но кто бы без протекции взял мои статьи в московские журналы? Даже в Киеве Денисовой удалось пристроить только одну мою статью, ведь везде была очередь. Разве учиться в Киевском университете – это преступление, закрывающее двери во все московские институты? Люди, которые так говорили, думали только о том, что я им не нужна и что меня здесь и сейчас не должно быть, и, конечно, никто не думал о том, что же я должна была делать в чужом городе и где то место, которое было «моим». Иной взгляд был у Тамары Наумовны Денисовой – она решила, что поворот моей судьбы – свидетельство того, что «Бог есть», и «иногда он помогает достойным людям».

Я с удивлением поняла, что представления многих москвичей о мире весьма специфичны. Раньше в России судьба разных городов в целом была одинакова, везде была своя интеллигенция, свои университеты, гимназии, профессура, учителя, врачи высокого профессионального уровня. Наши родственники жили в Киеве, Москве, Петербурге, Харькове, Полтаве, Владивостоке, Ташкенте, даже Новозыбкове. Все они были одинаковыми интеллигентами, никому бы и в голову не пришло презирать «провинциалов». В советское время, разумеется, везде стали доминировать люди иной формации, но везде оставались свои «бывшие», да и выросли вполне достойные «настоящие». Москвичи поразили меня узостью кругозора, незнанием жизни страны и неприятием всего «чужого». И грешили этим вовсе не арбатские старожилы, а москвичи во втором или первом поколении, принадлежащие к советской культуре, где вес человека, как правило, определялся внешними атрибутами – должностью, званием и, в том числе, престижным местом проживания, а именно – Москвой или,

в крайнем случае, Питером. Для меня провинцией были Нежин, Житомир, Осташков или Торжок, для них – все, кроме, пожалуй, Питера. О жителях Киева они почему-то судили по членам украинского политбюро, «радяньским письменникам» и базарным торговкам. Для неоспоримых специалистов, как Затонский или профессор КГУ Т.К. Якимович, делалось исключение, и к ним относились с сочувствием как к вынужденным прозябать в провинции, ведь все от Калининграда до Владивостока мечтают о Москве, и только там должны жить интеллектуалы. В целом же любая киевлянка автоматически считалась «киевской мещанкой». Раздражали моя неизбежная южная мелодика речи, хотя, у меня была культурный русский язык, без вульгарных «геканий» и «оканий». Никакой своей культурной неполноценности я никогда не ощущала. Ежегодно в Киеве гастролировали все известные музыканты и театры, да и наша опера и Русская драма были вполне на уровне. Действительно, многие культурные люди, прежде всего причастные к искусству, стремились вырваться в Москву, но это было вызвано идеологическим гнетом, который на Украине намного превосходил московский. Вот в этом Киев на самом деле (как и прочие нестоличные города) был провинцией, где начальство хотело быть «святей Папы Римского»), и это закон любой империи. Москва была центром притяжения, что не означало полного отсутствия интеллектуалов в других местах.

С подозрением отнеслись и к моей диссертации, но все же не могло быть и речи о том, чтобы я защищалась в Киеве, где меня знали лучше. Сотрудник ИМЛИ, защитившийся на стороне, навсегда бы испортил свою научную репутацию. Творческой нагрузки мне поначалу не дали, прикрепив к «реферативной группе», куда ссылались не способные к творческой работе сотрудники, где я писала рефераты по новым иностранным книгам. Это у меня пошло так хорошо, что меня заметил даже академик-секретарь М.Б. Храпченко и появилась идея сделать меня руководителем этой группы, главным образом, как я считала, для того, чтобы от меня избавиться в Отделе. Слава Богу, мне удалось отбиться. Неоднократно руководство втолковывало мне, что, несмотря на то, что у нас один присутственный день, я должна дома работать ежедневно, иначе не сделаю план. Почему-то во мне подзревали блатную бездельницу, устроившуюся на теплое место, куда можно «не ходить» (у нас был только один присутственный день). Я же сидела в библиотеках с утра до ночи, даже моя близорукость от напряжения увеличилась на одну диоптрию. Наконец мне поручили первую статью в коллективный сборник по американской литературе – по теме, которую считали для меня посильной – о документальной литературе. Она удалась, меня похвалили. Потом я написала статью в киевский сборник о современном романе, что приятно удивило мою зав. сектором, поначалу заподозрившую, что я решила заработать деньги за одну и ту же статью и отдала «документ» еще и в Киев. Пришлось подарить ей статью на украинском языке и тем самым разубедить. Доверие ко мне стало расти, заметили мою пунктуальность и исполнительность и назначили ученым секретарем сектора. В 1978 году я успешно защитилась (в восхищении от моей работы была Е.Ф. Книпович), чем очень обрадовала

маму, так как стали сбываться ее мечты о моей научной карьере, гордился мной и папа.

Муж мой был во всех отношениях человек неординарный. Мне как-то не очень везло с родственниками и друзьями, с которыми у меня не было особого взаимопонимания, но зато самые главные люди в жизни, мама и муж, оказались людьми уникальной интеллигентности, благородства и доброты. Вова к тому же обладал незаурядными способностями и феноменальной памятью, был энциклопедически образован и невероятно трудолюбив - вся его жизнь была сосредоточена на науке. Однако в быту, который мало его интересовал, он проявлял полную беспомощность, и мне пришлось взять на себя все жизненные проблемы.

С его родителями мои отношения складывались совсем не просто, так как, к моему огорчению они оказались яркими представителями «советской» интеллигенции. Михаил Антонович Алпатов, человек весьма одаренный (одно время хотел стать художником), происходил из донских казаков, родился на хуторе в семье столяра (его сестра Мария всю жизнь проработала грузчицей в магазине), учился несколько лет в гимназии, а при советской власти дорос до доктора исторических наук. Был убежденным коммунистом, как многие люди его поколения из социальных низов, ведь никакой другой идеологии они просто не знали, домашнего воспитания и образования не получили. Типично было и его отношение к старой интеллигенции – уважение, желание дотянуться до их уровня и внутренняя неприязнь как к «чужим», обида на то, что до конца «своим» его не признавали. Базовая культура у него оставалась простонародная. Понравиться ему я никак не могла, так как на дородную казачку ничем не походила. Украинка («иногородняя», «они умеют только борщи варить»), высокая, худая, черноволосая, смуглая, замкнутая, да еще в очках. Не вызвала я восторга и у Зинаиды Владимировны – «мещанка из Киева», родители не принадлежат к номенклатуре и даже не доктора наук. Сама свекровь была, правда, родом из Кисловодска, из купеческой среды, а вовсе не из профессорской семьи, как, на самом деле, мои родители. Поначалу она решила, что я, вследствие своей «простоты», смогу стать благодарной и преданной женой, почитающей мужа и свекровь, на которых буду смотреть снизу вверх. С первых дней она начала «вырывать» меня из ужасной киевской среды» и учить жизни. Мне объясняли, что в подарке важно внимание, а не цена, что нужно читать книги и путешествовать, что я должна тянуться за москвичками и учиться у них одеваться и прочее. Попытки уверить ее, что меня воспитывали интеллигентные люди, ни к чему не приводили. Зинаида Владимировна смотрела мимо меня пустыми глазами и иронически улыбалась. Правда, почти так же она относилась и к своим родственникам, не достигшим равного ей высокого общественного статуса. Равные ей начинались с докторов наук и выше.

Взгляды в моей новой семье меня ошеломили – я видела интеллигентов-карьеристов, интеллигентов-приспособленцев, но никогда не подозревала, что существуют интеллигенты, искренне верящие в коммунизм и почитающие «родную партию». В то время серьезно к ней не относились даже шоферы такси и портовые грузчики. Дома за праздничным столом

произносились тосты за мир, партию и правительство и за советскую родину. Было странно слышать, как историки называют себя «фанатичными коммунистами» и горят почти религиозной верой, отрицающей принципы относительности, объективности, исторического развития и карающей еретиков. На самом деле, как я подозреваю, свекровь принадлежала к тому социальному типу, который был бы фанатично привержен любой власти, независимо от того, что эта власть собой представляет. Она была очень тщеславна и всегда стремилась наверх. Ужасную бурю вызвала моя реплика о том, что Солженицын мужественный человек. Антисоветские настроения, с точки зрения родителей мужа, автоматически влекли за собой все мыслимые пороки, так что я мгновенно стала «злым и чертовым человеком», а мои родители – «недобрыми лицемерами». Разочарование было большим – разрушился мой образ бедной родственницы, облагодетельствованной и «введенной в академическую среду». К счастью, мы жили отдельно, так что стычки между нами случались только периодически. Были и попытки от меня избавиться.

После маминой смерти я взяла отпуск, и мы с папой поехали в Коктебель, чтобы прийти в себя. Вова улетел на полгода в Японию, со снимаемой квартирой нас попросили съехать, вещи наши перевезли в двухкомнатную квартиру Вовиной тетки, где я должна была жить до Вовиного возвращения, так как родители, получившие новую квартиру на Ленинском проспекте в академическом доме, делали там ремонт и еще не освободили уже нашу квартиру на Соколе. Приехав с вокзала, я застала в дверях Ирину Владимировну и ее подругу из Архангельска, сообщивших мне, что «Шура приехала погостить на два месяца». Дамы стояли и вопросительно смотрели на меня, не приглашая зайти. Я совершенно не понимала, чего от меня ждут: что я развернусь и пойду жить на вокзал (другого места не было)? Я вошла в переднюю, внесла в комнату чемодан и сделала вид, что ничего не происходит. Так, на расставляемой на ночь брезентовой раскладушке я прожила два месяца, стараясь на весь день исчезать в библиотеке. При этом Шура почти ежедневно говорила мне, что я должна поскорее съехать, так как очень стесняю «старую и больную» (прожила, ничем не болея, 87 лет, и именно я ухаживала за ней, когда она сломала шейку бедра) Ирину Владимировну. Как потом признался Вова, план работала Зинаида Владимировна. Шура была вызвана специально, специально затягивался и переезд на Ленинский. По замыслу, увидев, что жить мне в Москве негде, я должна была уехать к папе в Киев, да там и остаться. Как бы и с чего я могла бросить мужа и институт? Как могла бы заново приобрести киевскую прописку? Мужа при этом атаковали письмами с требованием развестись «не с нашим человеком», ему удалось отбить атаку. Абсурд, в комментариях не нуждающийся. И все это делалось с человеком, только что пережившим тяжелую травму. Хотя ни я, ни мои родители «людьми» не считались. При всем при том Зинаида Владимировна воспитала прекрасного сына, а мне – мужа, и дала толчок моей научной карьере, за что я ей благодарна. Бог ей судья.

Свекровь стала директором Института всеобщей истории и нашей жизнью особенно не интересовалась, хотя о сыне пеклась и звонила ему

по несколько раз в день, делясь своими событиями. Она умерла в 69 лет (самым нелепым образом – утонула в море во время конференции в Баку), но, скорее всего, ей повезло, что не дожила до 1991 года. Перестройку она восприняла плохо, допуская, что перемены нужны в экономике, но не могла принять изменения в идеологии.

В конце 1979 года родители переехали, а нас с мужем оставили на Второй Песчаной, в старой квартире. Так у меня впервые появился собственный дом, который я могла обустроить по своему вкусу. Несколько месяцев ушло на капитальный ремонт, квартира была запущенной, пришлось убирать в стену трубы, делать внутреннюю проводку, менять сантехнику и плитку, но главной заботой была мебель – от родителей осталась только старая кровать с горбатым матрасом. Купить в 80-м году в магазине хоть что-нибудь приличное было совершенно невозможно, запись на стенки и кухни была на несколько лет вперед. Но нам повезло. Одна сотрудница, Лида Сазонова, отдала мне свою очередь на немецкую стенку, которая ей уже была не нужна, а с кухней же вообще произошло чудо. Мы зашли в специализированный магазин, чтобы сориентироваться в перспективах, и там встретили бывшую Вовину соученицу, которая приехала с уже полученным талоном за кухней, ей не подошедшую, и талон тут же передали нам. Причем, это была именно приглянувшаяся мне чешская зеленая кухня. Спальню купили без проблем, так что довольно быстро вся квартира была обставлена – получились спальня (в алькове) – кабинет и гостиная-кабинет, так как в обеих комнатах стояли письменные столы. Почти всю обстановку мы сохранили на всю жизнь, потом добавились только полки и книги из Киева, пианино, книжные шкафы, картины и лампы от Вовиных родителей. Их историческую библиотеку мы передали в МГУ, а часть библиотеки Ирины Владимировны – в Педагогический институт. Окна нашей квартиры выходят прямо на сквер с каштановой аллеей, такой близкой киевской душе, рядом еще три парка, а троллейбусом за полчаса можно доехать до Серебряного бора.

Уютно я себя чувствовала и в институте на Поварской улице, в особняке Жиларди, дворянской усадьбе князей Гагариных, где одно время жила дочь Пушкина, Мария Гартунг, а в соседнем особняке Пушкин впервые читал «Полтаву» (украинские ассоциации). Почти напротив был Дом литераторов, кругом – посольства в купеческих особняках стиля модерн, Гнесинское училище.

Из моей киевской «бесприютности» я попала в центр московской литературной жизни, в присутственные дни обедала в Доме литераторов, сидя за соседним (а то и одним) столиком в Дубовом зале с людьми, о которых раньше только читала в газетах и которых видела по телевизору. Среда в ИМЛИ была научной, но в то же время полубогемной, многие сотрудники были членами Союза писателей, со мной в одном отделе работали Виктор Ерофеев и Святослав Бэлза, будущий модный писатель-постмодернист и телеведущий, «народный артист». Красавец, светский лев и бонвиван Слава был ученым секретарем отдела, впоследствии, когда он ушел в более престижные и денежные сферы, я заняла его место. Моя жизнь резко изменилась, менялась и я. То, что принималось окружающими

за провинциальную зажатость, а на самом деле было доставшимися от отца замкнутостью и застенчивостью и следствием моего вечного одиночества, постепенно смягчалось. Появилось большее уверенность в себе, я оттаивала, почувствовав растущее доброжелательное отношение к себе и внимание мужского пола. В конце концов я стала «имлийским» человеком, «своей», причем как раз для наиболее импонирующей мне части коллег. Понятие «имлийскости» подразумевало определенный уровень культуры, воспитания и человеческих качеств, преданность науке и институту. Люди, не соответствующие этому уровню, как-то не приживались – или уходили из института, или пользовались недостаточным уважением. Конечно, мои сотрудники были людьми разными, наделенными многими человеческими слабостями и чертами, присущими любой научной и тем более богемной среде. Борьба амбиций и самолюбий, зависть и эгоизм неизбежны в любом человеческом сообществе. И все же я понимала, что после всех мытарств это наилучшее место и наилучшая среда для такого человека, как я, и считала, что мне сказочно повезло. Атмосфера в Отделе была доброжелательной, обсуждения работ проходили очень бурно, иногда высказывались резкие мнения, но все было для пользы дела, и общаться с коллегами было интересно. Даже в советское время, при всем идеологическом контроле и давлении, в институте можно было спокойно заниматься наукой. Безусловно, от нас требовали «фундаментальных» и «актуальных» трудов, но мы часто выходили из положения, приписывая к их названиям «идеологические хвосты» типа «... в свете нового этапа идеологической борьбы». У нас с Николаем Ивановичем Балашовым (позднее ставшим академиком) сложились хорошие отношения, и административные дела с ним и со Славой Бэлзой делались легко, оба были людьми с большим чувством юмора.

Мое появление вызвало интерес среди местного мужского населения, разумеется (как всегда) определенного рода. В институте было много хороших секретарш, и Слава, не обделявший их вниманием, видимо решил, что их полку прибыло, и предложил мне не особенно мучиться над планом – он меня всегда прикроет. Люди самых разных возрастов и статуса приглашали меня в Дом литераторов, на дачу и в театр. А главный «жизнелюб» провел со мной разьяснительную беседу на тему «я не туда иду». Ее подтекст заключался в том, что я несомненно стремлюсь к успеху и красивой столичной жизни, но ложно решила, что добиться этого можно научными заслугами, а есть путь гораздо более прямой, легкий и приятный – через поклонников, которые могут повести в престижные клубы и рестораны, помочь с заграничными командировками, познакомить со знаменитостями. Вообще, меня принимали поначалу за наивную провинциальную дурочку, воображение которой можно потрясти кожаным пиджаком и билетом члена Союза писателей. Все это было бы оскорбительно, если бы не было смешно.

Я активно писала в труды американской группы, став наконец ее полноправным членом. Со всеми у меня сложились ровные отношения, с кем-то приятельские. Даже те, кто меня поначалу недолюбливал или относился ко мне свысока, со временем смягчились и меня признали. Я

мечтала о собственной монографии, но в те времена монография считалась наградой и давалась обычно после 15 лет пребывания в институте, старшего же научного давали и вовсе почти перед пенсией. О командировке в Америку можно было только мечтать, туда из группы ездили только партийные и благонадежные Засурский, Чаковский и Ващенко. Саша Ващенко этого стеснялся и как-то конфиденциально предложил мне помочь со вступлением в партию, что открыло бы мне зеленый свет, но сам все понял, сказав «ты, наверное, не захочешь вступать только ради поездок». Я не захотела.

Гуманитарный, а, стало быть, идеологический институт был под неусыпным оком соответствующих органов. Не оставили они своим вниманием и меня как вновь поступившую. При всей своей наивности я сразу поняла, кто меня проверял под видом любезных поклонников, заводящих скользкие разговоры (почему-то в основном об украинском национализме), и «играла дурочку», сводя все к шутке. Потом я поняла, чем это было вызвано. Когда моя тетя Ляля во второй раз вышла замуж и переехала в квартиру мужа, по советским законам, она должна была избавиться от частного дома. Естественно, она решила подарить его Саше, но оказалось, что такую большую жилплощадь одному человеку подарить нельзя – и она отписала нижний этаж мне (чисто формально, я даже дала Саше генеральную доверенность на управление домом). По рекомендации теткой подружки Саша пустил на первый (мой) этаж квартирантов, которые (будучи евреями) оказались украинскими националистами. В органы таскали и Сашу, и даже теткинго мужа, меня же не вызывали никуда. Возможно, они все же поняли мою полную неосведомленность и непричастность, а, скорее, не хотели тревожить мою номенклатурную свекровь. Не знаю, почему, но я всегда была напрочь лишена страха, присущего старым интеллигентам, для меня эти органы просто не существовали, я от них абстрагировалась. Меня удивляла настороженность, с которой поначалу относились ко мне коллеги, когда я что-то сбалтывала, скорее всего, считая это провокацией. Помню, как-то я обедала за одним столом с академиком Виппером и нашей сотрудницей, Натальей Федоровной Ржевской, которая вела довольно вольную беседу к явному беспокойству и неудовольствию Виппера, бросавшего на меня виноватые взгляды. Потом она призналась, что он отчитал ее за откровенность в присутствии непроверенного человека. Был один странный случай. Из-за неважной памяти я завела ежедневник, куда записывала все предстоящие дела и пришедшие в голову мысли. Приходили они внезапно, поэтому я часто вытаскивала записную книжку из сумочки. Один раз заметила, что этим явно заинтересовался один наш сотрудник, по слухам, имевший отношение к «монторе». А где-то через неделю я обнаружила, что книжка пропала. Могло это произойти только в универмаге, куда я захотела перед работой. При этом кошелек был цел, так что, скорее всего, я ее просто выронила, доставая деньги. Еще через неделю мне позвонили, и какой-то мужчина спросил, нужна ли мне записная книжка, которую он нашел в метро (но я в тот день ездила исключительно на наземном транспорте!).

Я обрадовалась, мы встретились, внешность его оказалась очень типичной для работника органов, смотрел он на меня очень пристально³.

Где-то в 1979 году в наш институт позвонили из академического профкома и предложили горящие путевки в круиз вокруг Европы, несколько человек подали заявки, и я в том числе. На партсобрании, где должны были дать рекомендацию, пришлось испытать унижение, впрочем, особенно меня не удивившее. Одна из шибко партийных дам (человек явно не «кимлийский») стала высокомерно интересоваться, на какие деньги я собираюсь ехать, если я только младший научный сотрудник. Все прочие претенденты были на той же должности, но вопросов почему-то не вызвали. Как мне объяснила моя приятельница, эта «гражданка Парамонова», скорее всего, решила, что смазливая молодая дамочка нашла себе богатого покровителя и нагло решила прокатиться за его счет. Круиз оказался дезинформацией. В профкоме мне предложили поехать на Кубу, но я отказалась, так как в то время после посещения капиталистической страны нельзя было никуда выезжать 4 года, а Куба приравнивалась к таковой из-за близости к Америке, и мне не хотелось из-за нее терять шансы увидеть Европу на столько лет. Но за границу нужно было попасть обязательно, причем, согласно неписанному правилу, первые два раза – в социалистическую страну. Только так я могла надеяться пробиться в Америку. Наш институт был тесно связан с Союзом писателей и мы имели квоту в 2–3 человека на туристические поездки, организуемые Союзом. Так мне удалось попасть в первую зарубежную поездку по Венгрии. Интересный случай произошел в райкоме партии, куда я была вызвана на обязательное собеседование. Один из старых большевиков спросил, почему я еду в Венгрию, если занимаюсь американской литературой. И ведь нельзя было в ответ сказать, что я еду туда как турист, а не в командировку, и что я готова поехать в Америку хоть сейчас, такая ирония сделала бы меня неблагонадежной – умничать в сакральных стенах райкома не полагалось. Поразительно было лицемерие этих людей. В райкоме я видела, как отчитали девушку, пришедшую в столь святое место в брюках, и в то же время слышала, как за стеной играющие в бадминтон партийцы ругались матом.

Раньше я даже мечтать не смела о том, что попаду за границу, она была так же недоступна, как Луна или Марс. Поэтому, выйдя из поезда на будапештском вокзале, я испытала какое-то непередаваемое чувство свершившегося чуда. И первое впечатление от города, герани на балконах и окнах, витрин магазинов и кустарных лавочек – непохожая на нашу атмосферу жизни, в которой больше энергии, цвета, открытости, радости. Следующим моим выездом за границу была командировка с Майей Кореновой в Берлин, у нас был совместный проект с местным Институтом литературы. Потом я ездила с Союзом писателей в турпоездки по Греции, Англии и Испании. Помню ощущение полного счастья, когда нас из афинского аэропорта привезли в Пирей на обед в маленький ресторанчик на набережной. После московской ноябрьской погоды – солнце, синее море, цветы, жаровня, где готовят только что выловленную рыбу, попугай в

³ Это было в 1994 году.

клетке, красавец-гид Никос (Римма Казакова положила на него глаз, поинтересовавшись у меня, не собираюсь ли я «им заняться»). Все казалось нереальным, а среди развалин Олимпии я испытала мистическое чувство одномоментного присутствия всех времен и эпох. Англия для меня была путешествием в любимые книги. Потрясла своей жизненной энергией Андалузия. Мы попали в Гранаде на праздник Корпус Кристи, когда после процессии вечером на улицах шло народное гулянье. Горожане были в ярких национальных костюмах, звучала музыка, все, даже крошечные дети, одетые по-взрослому, танцевали фламенко. Это невероятно волновало и трогало, я взглянула на своих попутчиц, у всех этих советских женщин, замученных нашим тяжелым и скучным бытом, текли по щекам слезы – они явно оплакивали свою серую жизнь, увидев, какой яркой она может быть.

При советской власти я еще ездила по профсоюзной путевке в Польшу и Словакию, где познакомилась с тремя научными дамами-биологами, которые впоследствии стали моими компаньонками и по другим поездкам. Но самой замечательной была поездка в Японию в 1985 году. Вова получил на год стажировку в эту страну и, по существующим тогда правилам, я имела право поехать к нему на месяц. Стоило это много крови и нервов. Оформлял меня в Управлении Академии Наук некий гнуснейший тип, типичный представитель своего ведомства, грубый, высокомерный, бесчеловечный, сразу взорвавшийся при словах «я имею право» и заявивший, что никаких прав у меня нет, а все решает он. Меня долго муржили, но потом внезапно стали исключительно любезными. Я не могла понять, в чем дело, но институтский начальник иностранного отдела, смеясь, признался, что, желая мне помочь, намекнул, что я племянница украинского руководящего деятеля по фамилии Стеценко, что, слава Богу, было неправдой. Как потом мне объяснили, от меня просто ожидали взятки. Затем неожиданные препятствия возникли со стороны Японии. Уже была назначена дата моего приезда и куплены билеты, но накануне вечером (раньше в советское время документы не выдавали) визы не оказалось. Пришлось сдать билет, потеряв пятую часть стоимости. А дальше нервные 20 дней ожидания визы, ежеминутная надежда на звонок из Управления. Скорее всего, дело было в том, что наши не дали визу какому-то японцу, и японская сторона предприняла ответную акцию. Наконец, долгожданный звонок раздался, я бросилась в Аэрофлот и в Президиум и на следующее утро улетела в Токио.

Это была первая индивидуальная поездка за границу, без надзора по крайней мере советских спецслужб, когда можно было жить своей частной жизнью и свободно передвигаться по стране. Вова снимал маленькую квартирку, отмыванию которой я посвятила первый день своего пребывания. Мы путешествовали, как «белые люди», обошли весь Токио, объездили все его живописные окрестности, побывали в Киото, Осаке, Хиросиме, Сэндае, Камакуре и в самых красивых местах Японии, согласно туристическому справочнику, – в Макусиме, Миядзиме и Аmano-Хасидате. Этот своеобразный мир произвел на меня огромное впечатление, пожалуй, ни в одной стране не чувствовала я такого духовного умиротворения,

не видела такого эстетизированного ландшафта. Останавливались мы чаще всего в маленьких национальных гостиницах-реканах, типичных японских домах, спали на татами, одеваясь в ночные кимоно, ели японскую еду. Были на многих праздниках, устраиваемых в разных районах Токио, поднимались в горы, посещали озера и храмы. Вторая наша с Вовой месячная поездка в Японию состоялась в 2001 году, но она ограничилась жизнью в Токио и работой в университетской библиотеке. Однако мне удалось захватить цветение сакуры, глицинии, азалий и ирисов.

Я вернулась в Москву в конце мая (Вова еще оставался в Японии) и на следующий день, сидя у телевизора, слушала ленинградскую речь Михаила Горбачева, первую человеческую речь из уст генерального секретаря КПСС. Это трудно объяснить рационально, но моей первой реакцией было чувство какого-то инстинктивного страха, как будто я ощутила движение истории, сулящее неопределенное будущее. Но было и чувство восторга – наконец, закостеневшая в тупом догматизме и бездушном бюрократизме страна сдвинулась с места, появилась надежда на пока еще неясные перемены. На самом деле, я предчувствовала нечто подобное, так как безжизненность и уродство советской системы становились очевидными не только таким, как я. Жить стало интересно, настоящим праздником было чтение газет и журналов. Невероятно, но я даже купила книгу Горбачева – впервые у партийного лидера появились идеи, а не унылое начетничество.

В 1986 году на майские праздники мы с Вовой, как всегда, собрались в гости к родственникам в Киев. 28-го апреля мне позвонила Денисова и посоветовала подумать, стоит ли ехать, поскольку всю ночь из Дарницы на правый берег Днепра шли грузовики и было очевидно, что произошло что-то серьезное. Официально в газете Известия было одно короткое сообщение о неполадках на Чернобыльской АЭС. По моей просьбе, знакомые связались со своим родственником-ядерщиком, который сказал, что подобные аварии, как правило, устраняются в течение трех дней, и мы можем спокойно ехать. Так мы и поступили. Видно, мне суждено было разделить несчастье моей родины, судьба привела меня в Киев в самый его тяжелый момент. Прекрасная киевская весна в эти дни была особенно интенсивной и яркой – подпитываемые энергией радиации бурно пошли в рост растения, цветы, листва, трава, солнце жгло в пронзительной синеве неба, это был праздник жизни, таящий в себе смертельную опасность. Люди вышли на демонстрацию, гуляли по паркам, ездили на Днепр, брали с собой детей. Мы ходили по центру, бродили по Ботаническому саду, разве что поглядывая на облака, чтобы проверить, со стороны ли Чернобыля дует ветер. А вечером пришли к Хотяинцевым, Сережа достал дозиметр и проверил наши волосы и обувь – все зашкаливало. Официальных предупреждений не было никаких, но по городу ползли слухи, что нужно пить йод, и он мгновенно исчез в аптеках. Говорили, что вся украинская партийная верхушка вывезла своих детей на самолетах в Москву. Советовали по вечерам стирать всю одежду и мыть голову. Не исключено, что эти слухи распространяло КГБ. 5-го мая мы вернулись в Москву, а уже через день, возвращаясь с работы, я увидела у своего дома

семью моего двоюродного брата Саши. Накануне начался исход их Киева детей, которых родители пытались вывезти к родственникам в другие города и на отдых. Сашина семья прожила у нас до зимы, его дочка училась в ближайшей школе.

19-го августа 1991 года в семь утра нам позвонила Вовина тетушка и сообщила, что Горбачева сняли, а по ее Конюшковской улице в сторону Белого дома идут танки. В 12 часов у меня было заседание в институте, я позвонила своему заведующему Валерию Земскову и предложила отменить встречу в связи с событиями, но он только посмеялся, не отнесясь ко всему происходящему серьезно, и я поехала на работу. Настроение у меня было ужасное, отчаяние усилилось еще от того, что в автобусе царила полная тишина, никто не обсуждал события, хотя нам навстречу шли танки. Было понятно, что люди обреченно поверили в возвращение прежней власти, и вернулся прежний страх. Особенно отвратительно было слышать по телевизору стандартную советскую ложь о болезни Горбачева, подразумевающую, что население – стадо тупых и покорных баранов. Конюшковскую улицу я перебегала между идущими танками.

На 20-е число у нас были билеты в Киев, мы все-таки решили ехать, а не идти со всеми к Белому дому, что тогда мучило мою совесть и чему сегодня я только рада. Наверное, мыслящим людям никогда не нужно быть в толпе, часто не подозревающей, что ею манипулируют корыстные политические силы. Ночью в поезде я почти не спала, а приехав в квартиру киевской тетушки, сразу бросились к телевизору и потом от него практически не отходила, даже на даче. Увидев, как сбрасывают памятник Дзержинскому, я расплакалась, и мы с Ирой с радостью повторяли «дожили, дожили» и жалели, что это не привелось увидеть нашим родителям. Ведь советская власть казалась вечной. Правда, распад СССР и объявление независимости Украины несколько сдержали мои восторги, для меня Россия и Украина были единой родиной, я вовсе не хотела оказаться иностранкой в своем Киеве и ездить туда по визе.

Началась новая эпоха. Какой радостью было читать в прессе то, о чем всю жизнь приходилось молчать. И это для меня было главным, помогало легко пережить и потерю всех родительских денег, и зарплату в 12 долларов, и страх перед вечерними улицами, и пустые магазины. Ведь именно на криминальные 90-е пришлось бурная интеллектуальная жизнь, свобода выбора тем в институте, поездки на конференции и в длительные командировки за границу, работа в американских библиотеках, возможность писать монографии и защитить докторскую. К сожалению, одновременно росло разочарование в людях, даже в лучших из них. Поражала легкость, с которой человек, год тому назад уверявший, что «впитал социалистические идеи с молоком матери», называл себя «ярким демократом». Очевидно, что на самом деле он был «ярким конформистом» и обывателем, заботящимся исключительно о собственном благополучии. Некоторые верные коммунисты начинали с трибуны с той же искренностью говорить о построении нового «светлого будущего», так ничего и не поняв. Но больше всего меня огорчило то, что, получив полную свободу творчества, сотрудники, вместо того, чтобы коллективно заняться новыми проектами,

начали по одиночке разбегаться. Хотя Институт остался местом, где можно было в наибольшей мере реализовать себя ученому, он потерял прежний престиж и материальную привлекательность. Наука оказалась в загоне, перестала давать высокий социальный статус и приличные деньги. Некоторые уходили в бизнес, другие – на преподавательскую работу, на телевидение. А были такие, кто просто предал и институт, и коллег, отказавшись создавать деидеологизированное литературоведение в родных стенах, перешли в РГГУ, куда их переманили высокими зарплатами и идеей создания некоего интеллектуального заповедника, созданного для избранных. В 2010-е годы место РРГУ заняла Высшая школа экономики, куда ушла новая волна молодежи. Таким образом, «не призванные» оказались людьми второго сорта, обреченными прозябать в стареющей и умирающей Академии наук. Но многие, и далеко не худшие, остались, хотя институт значительно сократил свою численность. Из американской группы ушли Зверев, Ващенко, Чаковский, Шемякин, Якименко (многие девицы вышли замуж за иностранцев), пополняться она начала только в начале 2010-х годов. И при этом все же удалось осуществить грандиозный проект – издать 6-томную «Историю литературы США», работа над которой в советское время периодически тормозилась неблагоприятной политической конъюнктурой.

Впервые я попала в Америку только в 1989 году. Мы, Зверев, Земсков, Ващенко и я, поехали на конференцию в городок Ада, штат Огайо, добравшись через Нью-Йорк, причем с большими приключениями. Билеты достать было невозможно, накануне отъезда Саша Ващенко поехал в Шереметьево в надежде купить продаваемую за сутки перед вылетом неиспользованную бронь. В 10 часов утра он мне неожиданно позвонил и сказал, что есть билеты прямо на сегодня, рейс через полтора часа. Я в это время сидела с покрашенной головой, чемодан сложен не был, Зверев тоже еще не собирался, а телефон Земскова не отвечал – он еще не проснулся. До него мне удалось дозвониться только в 11 часов. Все примчались на такси только к часу, спасло нас то, что рейс на пару часов отложили. Прилетели ночью, в гостиницу ехать не имело смысла, так как она была заказана только на следующий день, а денег у нас не было. Мой брат Никита на звонки не отвечал, он был за городом. Аэропорт закрывался – там нет традиции ночных сидений в ожидании рейса. Саше все-таки удалось дозвониться до нашего посольства и, о чудо!, за нами приехала машина и отвезла нас в здание консульства, где расселила по комнатам. А утром мы поехали в свой отель, где нас дождался Ясен Николаевич Засурский. День гуляли по Нью-Йорку, а потом перелетели в Аду, университетский городок, где единственная достопримечательность – пожарная каланча. Темп нашего визита был очень напряженный, это была «перестройка, гласность, Горбачев», русские были в страшной моде на Западе. Нас таскали по встречам, интервью, лекциям, записывали на телевидении, кормили в ресторанах. На обратном пути в Нью-Йорке я побывала в гостях у Никиты, который показал мне город. Запомнился один случай, поразивший меня, приехавшую из страны победившего хамства. Никита как архитектор решил повести меня в знаменитый зал-ресторан, но метрдотель

предупредил, что туда можно войти только в пиджаке, и тут же вынес из подсобки пиджак для Никиты. Съездили мы и в Нью-Джерси, где жила мама Никиты, тетя Рената (дядя Сережа уже умер). И я, и она дивились этой немислимой раньше ситуации – возможности повидаться, сидеть на ее террасе, спокойно разговаривать. Кольнуло сердце, когда увидела у нее на столе портрет моего прадеда Кобелева. В Москву я прилетела настолько уставшей, что прямо свалилась на кровать и проспала целые сутки. На обратном пути случился казус. Саша Ващенко купил в дьюти-фри виски для отца, бутылку, по довольно странным правилам, должны были поднести ко входу в самолет, но почему-то принесли только ко входу в «кишку». Саша вышел из самолета, а обратно его отказались пустить, так как посадка закончилась, и он остался в аэропорту без пиджака, хорошо, что с документами. Его место было рядом со мной, у меня были его пиджак и сумка, и это я заставила его все-таки прихватить с собой билет и паспорт. К моему страшному удивлению, на его место посадили какого-то мужчину, не став слушать мои возражения. В Москве мне пришлось снимать с ленты и тащить к себе домой его багаж. Жена Зверева в аэропорту удивилась – «ведь вас, кажется, уезжало четверо, а приехало трое», на что Зверев безмятежно ответил – «один из нас выбрал свободу». Саше удалось улететь следующим рейсом.

В Америке мне удалось побывать еще трижды. У нас была тесная связь с Центром по изучению культуры Юга в Оксфорде, штат Миссисипи, родном городе У. Фолкнера. Две конференции проходили в Оксфорде и Джексоне, вторая была по творчеству Юдоры Уэлти. Мне удалось познакомиться с этой замечательной писательницей, я жила в доме ее компаньонки-секретаря, мы даже вместе ехали на конференцию. Потом была трехдневная поездка с Биллом Феррисом, директором центра, по Миссисипи и Теннесси – имение модного афро-американского писателя Алекса Хейли (автора романа «Корни»), катание на его скутере по озеру в горах, посещение имения матери Билла (его дед был крупным плантатором), хлопковые поля, колибри, пруд с аллигаторами, особняк с колоннами, брат Билла, сенатор от штата. Была поездка и в Новый Орлеан, в дельту Миссисипи. В Джексоне я жила в семье хирурга, он показал мне свою больницу с компьютеризованными палатами, где были комнаты для родственников. А его жена повезла меня на экскурсию по городу, который был четко разделен на районы миллионеров, высшего и низшего среднего класса и бедноты, отличавшиеся и домами, и жителями. С таким делением я потом столкнулась и в Чикаго – на севере жила приличная публика, на юг же мне даже не рекомендовали ездить в метро, там было опасно. Я поняла, что американское понимание демократии сильно отличалось от нашего, там предполагались равные права и возможности, но никому бы и в голову не пришло сесть рядом с профессором, врачом и адвокатом наркомана и уголовника, тем более в одну квартиру.

У Майи Кореновой и меня был общий «женский» проект с американскими учеными дамами из Аризонского университета, русистской Адель Баркер и американисткой Сьюзен Айкен. Работа над этим трудом раскрыла мне особенности американского характера и отношение американцев

к европейцам, прежде всего к русским. Мы были в моде и, хотя отношение к нам было дружеским, в нем все же сквозило превосходство, причем не столько снисходительно-высокомерное, сколько сочувственно-доброжелательное. Наши соавторы признавали наш интеллект и профессионализм, но все же воспринимали нас как людей недемократической культуры, мышление которых травмировано тоталитарной идеологией. Мы на равных вели и записывали наши научные диалоги, потом они (поскольку книга издавалась в США на английском языке) их компоновали и редактировали. В результате получилось не совсем то, что мы ожидали. Наши слова передавались точно, но в таком контексте и с таким комментарием, что получали какой-то другой оттенок смысла, сводящийся в целом к идее трансформации нашего сознания, когда мы впервые вкусили свободу и приобщились к подлинной американской демократии.

С Аделью, моей сверстницей, имевшей премного сына из Боливии Ноя, мы сохранили дружеские отношения на всю жизнь. Благодаря этому проекту, результатом которого стала объемистая книга, мы побывали в Аризоне, а я еще получила два гранта на работу в университете Сиэттла (куда на год переехала преподавать Адель) и в библиотеке Ньюберри в Чикаго (там меня опекал русист Ирвин Вайл). В Сиэтле, городе «странных» людей, Адель познакомила меня со своими приятелями – Сабриной (за год до этого еще бывшей женщиной, преподавателем сербской литературы), ее сожительницей-лесбиянкой и престарелым геем. Наверное, я слишком консервативна, но гораздо большее удовольствие мне доставило общество Блоссом, собаки Адели, с которой я оставалась на две недели, когда Адель с Ноем уезжала в Туссон. Возможно, в ней была примесь благородной крови бордер-колли, но короткие кривые ноги и загнутый колечком хвост свидетельствовали о неразборчивости вкусов ее мамы. Была это особа очень своенравная и капризная, но меня почему-то приняла сразу. Адель, уезжая, объяснила ей, что она остается на моем попечении и должна меня слушаться, что собака и исполняла, глядя на меня доброжелательными глазами. Я набирала книги в библиотеке и днем сидела на террасе с Блоссом, любуясь видами одноэтажного Сиэттла, утопавшего в цветущих дог-триз. Идиллию нарушал только почтальон Джон, которого ненавидели и встречали отчаянным лаем все собаки – представьте, этот наглец мчался по улице на машине, швыряя во дворы свертки с почтой. Портили нервы Блоссом и соседские коты. Не знаю, как они сговаривались, но ежедневно персидский черный и пушистый сямский коты взбирались на высокую ограду и устраивали там сиесту, обернувшись хвостами и сладко дремля, тогда как Блоссом в дикой ярости и со страшным лаем бросалась на забор. Коты при этом ни разу не вздрогнули и не открыли глаза. Все это было очевидно нарочито и с большим чувством юмора. Блоссом скрашивала мое одиночество, ведь, наверное, нигде я не чувствовала себя такой покинутой – я была «на другом конце света», на берегу Тихого океана, ближе к Берингову проливу, чем к Европе, в городе не было ни одного знакомого человека, за две недели я не проронила ни слова, лишь собака была моим единственным собеседником

и другом. Через три года я получила от Адели фото моей подруги с подписью а friend и двумя датами.

Если уж речь зашла о животных, которых я всегда безумно любила и, по вполне понятным причинам, с возрастом стала любить еще больше, расскажу о некоторых связанных с ними случаях и о моих дорогих друзьях. Во дворе на Тургеневской поселилась бродячая дворняга, которая почему-то выбрала меня и каждое утро меня провожала на работу в издательство (я ходила пешком по всему бульвару Шевченко до центра). Взять ее домой я никак не могла – в коммуналке требовалось согласие всех жильцов. Однажды она увязалась за мной в магазин и, когда я из него вышла, то увидела, как вокруг нее кружат два гицеля в телогрейках и ватных рукавицах. Тогда я узнала, что такое состояние аффекта – бросилась на них с таким выражением лица, что они тут же запрыгнули в машину, наверное, приняв меня за сумасшедшую. Потом эта собака пропала.

Однажды, во время летнего путешествия с родителями, мы остановились в частном доме в деревне Игоревка на берегу Азовского моря. Деревня представляла собой одну улицу, где в каждом дворе была цепная собака, остервенело облаивающая всех прохожих. Родители легли спать в машине, а я – на раскладушке в саду. Ночью я проснулась и с ужасом увидела, что все эти страшные псы, отпущенные хозяевами на волю, лежат вокруг моей кровати. Я решила, что сейчас они набросятся на меня как на чужака, вторгнувшегося в их владения, но с удивлением увидела, что все они приветливо завили хвостами, и поняла, что они меня почему-то охраняют.

Кошек и собак у меня никогда не было – сначала коммуналка, а потом отсутствие возможности выгуливать животных и оставлять их на длительное время. В основном, все мои любимые собаки принадлежали Ире Ермаковой и ее сыну Кириллу – фокстерьер Фердинанд, спаниэли Саня и Паша, боксерша Ханна. Особенно теплые отношения сложились у меня с Пашей (с ним мы пережили тяжелое время Ириноного умирания). Когда я приезжала, он бросался ко мне на колени и обнимал лапами за шею, ночью спал со мной на другой половине двуспальной кровати, смешно храпя, а мой отъезд чуял с утра, ложился на порог и смотрел на меня с немой тоской и укором, и когда я уже шла по аллее двора с чемоданом, закатывал на балконе жуткую истерику – лаял, скулил, прыгал и пытался пролезть сквозь перила.

Не сразу сложились у меня отношения с алпатовским котом Феропотом, поначалу он меня боялся и прятался под диваном. Когда мне пришлось жить с ним месяц одной в их квартире (родители уехали отдыхать, Вова был в командировке) он в первые дни появлялся только ночью и демонстративно гадил мне на одежду и пишущую машинку. Но как-то внезапно резко изменил поведение, встретил меня с работы в прихожей, лег мне на колени, а ночью мурлыкал у меня на груди. С тех пор мы подружились. Помню, как меня растрогала «выбравшая» меня черно-белая кошка в израильской Натанье. Там на побережье живет много бродячих котов, которых дважды в день кормят специальные люди. Эта кошка каждый день, когда мы приходили на скамейку в беседке, прыгала ко мне на

колени и требовала, чтобы я ее гладила. Запомнилась и роскошная муаровая кошка в Люцерне – она грелась на солнце на подоконнике виллы и, заметив нас, вдруг прыгнула на цветущую рядом сакуру, помчалась к нам и стала тереться о наши ноги.

В берлинском зоопарке я наблюдала, как толпа туристов смеялась, глядя на самца шимпанзе, а тот, крайне этим недовольный, злобно бросал в них комья земли. Потом он заметил меня – я стояла рядом, не улыбаясь и глядя на него с сочувствием. Я его явно заинтересовала и удивила. Трудно передать его взгляд, он был совершенно человеческим. Животные занимали в нашей жизни большое место, мы с мужем много о них разговаривали, а в путешествиях всегда радовались, когда встречали ослон, слонен, верблюдон, обезьян, лемурун, коати, игуан, бурундуков, пеликанон, овец, коров и всех прочих, и были рады с ними пообщаться. В любой стране мы старались попасть в зоопарк.

Из Сиэттла в Чикаго и обратно я решила проехать на Грейхаунде, автобусе, колесящем по всей Америке. Все знакомые Адели были в ужасе, таким видом транспорта пользовался почти исключительно «низший средний класс» (билет из конца в конец и обратно стоил всего 105 долларов), меня могли «огрابتить и убить», и поездка могла быть «очень депрессивной». Действительно, попадались явно деклассированные элементы, удивительно напоминавшие и внешностью, и манерами наших люмпенов, только говоривших по-английски, но основную публику составляли старушки, едущие на небольшие расстояния в гости к детям, или бедные семьи с детьми, черные и чиканос. Конечно, было нелегко провести в автобусе на узком кресле трое суток, но зато я увидела провинциальную Америку и ее потрясающие разнообразные ландшафты.

В ветреном, промозглом весеннем Чикаго я вела очень размеренный образ жизни. Жила в доме адвоката на конечной станции северной электрички, откуда до дома было 4,5 километра. Автобус ходил, но только до 19.30, и, если я задерживалась, приходилось идти пешком – я была единственным прохожим на пустых улицах. Но в этом богатом районе было безопасно, там даже двери не запирали, и с южных окраин туда никто не приезжал. Целыми днями я читала в библиотеке манускрипты XVII–XVIII веков (я писала книгу о путевых записках первооселенцев), по выходным ходила в музеи, гуляла по городу. Один раз вместе с артистом Вениамином Смеховым и его женой Галиной встречалась со студентами Эванстонского университета. Смехов почти не говорил по-английски, поэтому текст его лекции зачитывала Галя.

Какие у меня самые общие впечатления об Америке? Прежде всего, интуитивное чувство, что это чужая для белого человека земля и что ее подлинные хозяева, гармоничные с ее природой – индейцы. Открытием стало то, что пресловутый американский индивидуализм оказался дополненным полным конформизмом, стадностью и несамостоятельностью мышления. Американец всегда старается делать то, что принято в данной ситуации, и думать так, как должно, полностью доверяя общему мнению, средствам информации и государственной политике. Переубедить его, как правило, невозможно. Американцы нетерпимы к нарушению всяких

правил и законов, но в целом это народ доброжелательный и отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь. В нем нет подозрительности и озлобленности, которая, к сожалению, присуща советскому варианту русских. Для меня все же главная прелесть Америки не в ее богатстве и современных технологиях, небоскребах и машинах, а в роскошной природе, которая поражает своей мощью, масштабами и многообразием. Этим она напоминает Россию если проехать ее от Калининграда до Петропавловска-на-Камчатке, а мы с Вовой это сделали, были и на Сахалине, и на Енисее, и на Байкале, и в Средней Азии.

Если считать Россию и Украину, то была я до сих пор в 61 стране, в некоторых – по несколько раз. Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Германия, Австрия, Италия, Испания, Франция, Монако, Англия, Греция, Кипр, США, Япония, Израиль, Египет, Турция, Мальта, Голландия, Бельгия, Тунис, Индия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Чехия, Швейцария, Лихтенштейн, Хорватия, Китай, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Португалия, Цейлон (Шри-Ланка), Черногория, Румыния, Болгария, Мексика, Перу, Сан-Марино, Иордания, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Гибралтар, Люксембург, Палестина, Белоруссия, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Киргизия, Узбекистан, Казахстан⁴. Дважды по месяцу жила в Берлине, работая в библиотеке Открытого университета, провела две недели на семинаре в замке Леопольдскроншлесс в Зальцбурге, ездила на конференции Европейской ассоциации американистов. Два месяца жила в Вассенаре, местечке между Лейденом и Гаагой, в пяти километрах от моря, где находился NIAS, институт, приглашающий ученых из стран Восточной Европы для работы над своими темами. Объездила всю Голландию и Бельгию. На следующий год после меня там побывал и Вова.

Но самые сказочные воспоминания о жизни за границей – принадлежащая Центру Рокфеллера вилла Сербиллони в городке Белладжио на озере Комо рядом с Миланом. На эту виллу приглашаются выигравшие грант интеллектуалы из разных стран, ученые, писатели, политики, художники, музыканты, архитекторы, там они живут, работают над своими проектами и общаются между собой в течение месяца. Каждый может за счет гранта взять с собой мужа или жену (или партнера, неважно какого пола). В старинном здании, построенном на месте виллы Плиния младшего, созданы все условия для идеальной, безбедной, беззаботной и насыщенной творчеством жизни. Усадьба расположена на гористом мысу, покрытом пиниями, в роскошном лесе-парке есть скалы, гроты, пещеры, статуи, розарий, цветники. В комнатах старинная мебель и в то же время компьютеры. С балконов открывается вид на озеро, Альпы, виллы (перед нашими окнами виднелись вилла Шарлотта с необыкновенным азалиевым садом и вилла Маргарита, где Верди написал второй акт «Травиаты»). Каждый день ресторанный еда, светский ужин, аперитив, лекции, беседы. Мы с Вовой много гуляли по соседним деревням и горам, ездили

⁴ Меньше чем за год до смерти, в сентябре 2017 г., еще была в Албании. Всего 62 страны.

на пароходике по озеру, были в Милане и Бергамо. На мой день рождения были шампанское и именинный торт, мне подарили альбом с иллюстрациями, посвященный вилле, два пианиста-американца играли для меня в четыре руки русскую классику, вставляя в пьесы мелодию «happy birthday to you». Я произнесла тост, имевший колоссальный успех: «I must reproach the host of this villa. I came here as a slim, industrious and sober lady and leave as a fat and lazy drunkard with lost habits for any housework. All my life I tried to be a good women in order to get to the paradise after my death but the God and Rockefeller Foundation decided to send me to the paradise while I am still alive. As Mark Twain wrote, the climate in the paradise is certainly better than in the hell but the company... He was wrong. I enjoy your company. Thank you».

Вообще отношение ко мне американского и европейского бомонда как к русской было показательно. В первый же день, встретив нас с Вовой в парке, американская пара, стэнфордский профессор и его жена-галеристка, спросили, откуда мы, и с удивлением воскликнули «вы русские? но вы же так хорошо выглядите!». Я поинтересовалась, что они ожидали увидеть. Оказывается, «бабушку в платочке», одетую в сельский наряд. Я порадовалась, что притащила с собой в Италию почти весь свой гардероб (а в нем было и несколько платьев, купленных на Пятой авеню в Нью-Йорке), который стал объектом потрясения и восторга моих коллег по вилле. Так же их удивило мое знание английского. Я была горда, что не посрамила родину. Самый большой интерес ко мне проявила американская писательница китайского происхождения Максим Хонг Кингстон, ей была близка тема, над которой я работала – экологическое сознание в литературе. После Италии мы с ней обменивались книгами и поздравительными письмами. Там я поняла, что европейцы относятся к американцам очень критично, они все время возмущались их высокомерием, непочтением к европейской культуре, развязностью, бесцеремонностью и хвалили меня за то, что я в общении с ними сохраняла чувство собственного достоинства. Наверное, не было в моей жизни более счастливого времени – Италия, кругом сказочная красота, весна, тепло, комфорт, приятное общество, все условия для работы, рядом Вова.

Конечно, если не считать радости от моих занятий литературой, то основное счастье в жизни я получала во время путешествий. Описать все, что я видела, природные красоты, музеи, города, животных невозможно, да и не нужно, для этого есть путеводители и более талантливые авторы путевых записок. Скорее всего, самое любимое для меня состояние – находиться в дороге, когда каждую минуту сменяются пейзажи, дома, лица. Я не в состоянии понять людей «непутешествующих», всю жизнь пребывающих в замкнутом пространстве. Прожить жизнь и не увидеть рассветов и закатов, не узнать разницу между морем и мощным океаном, не почувствовать бархатность пустыни, не собирать чернику в северном лесу, не плавать по реке, не взбираться на ледники, не узнать чужие культуры и религии? Мы с Вовой много путешествовали по Советскому Союзу (круизы по Волге, Енисею, по дальневосточным, Черному и Белым морям), Тянь-Шань, Кавказ, Крым, Карпаты, Сибирь. А потом три круиза

по Средиземному морю и ежегодные поездки по разным странам, часто на автобусе, отдых на европейских курортах.

Какие самые яркие моменты, вырванные из памяти? «Дама с горностаем» Леонардо в краковском музее, вызвавшая у меня мгновенное, почти чувственное осознание единства добра, зла и прекрасного. Мы были на экскурсии в Кракове с профсоюзной группой, музей Чарторийских в повестке дня не значился, и мне с огромным трудом удалось убедить экскурсовода туда зайти, что вызвало подозрение у сопровождавшей нас кэзэбэшницы. Она все время держалась рядом со мной и следила за моими руками, ожидая, когда я опущу в какую-нибудь греческую вазу пленку с формулой ракетного топлива. Однако те несколько человек, которые согласились зайти в музей, были потрясены картиной и благодарили меня со слезами на глазах, и даже эта тетка – подобный шедевр пронял и такую, как она.

Тадж-Махал на рассвете, ощущение невероятной гармонии и легкости. И подъем на слоне к индийскому форту, когда это огромное животное резко затормозило, как оказалось, пропуская крохотного щенка, которого с такой высоты и разглядеть было практически невозможно. И глаза нищего старика, протягивающего мне руку за подайнием. Слоны и дети Цейлона, где мы были за десять дней до страшного цунами.

Странная свадьба в маленькой церквушке на горном румынском курорте – юная красавица-невеста в роскошном платье со шлейфом, старый морщинистый жених в элегантном белом костюме, экипаж с тройкой лошадей и парящий над ними дельтапланерист (казалось, вот-вот он похитит невесту и спасет ее от неравного брака).

Старик-священник в армянском горном монастыре, рыдающий и выкрикивающий пророчества конца света.

«Мелонга» в маленьком мексиканском городке на центральной площади.

Амазонка, стеклянная гладь с отраженными белыми облаками, лодка, надежда, что покажется речной розовый дельфин, но сопровождающий мальчик-индеец уверяет, что увидеть можно в лучшем случае лишь его спину. И вдруг дельфин выскакивает из воды и парит во всей своей красе над рекой, поражая нас своей изысканной окраской. Полный восторг! И там же – попугай дон Педро, вышагивающий по деревянным мосткам к обеду и назвавший меня мамой. И вождь амазонского племени с огромным шрамом, делящий его обнаженное тело пополам снизу доверху и почему-то не спускающий с меня глаз. Таких моментов, когда я чувствовала связь со всем миром и необыкновенную любовь к нему, было множество. Я состою из них, ношу их в себе и, как мне кажется, становлюсь гораздо шире собственного тела и собственной судьбы.

Моя научная биография – пять книг, сотня статей, изданная «История литературы США» в 6 томах. Темы, в основном связанные с историей, философией, социологией; экология, путешествия, история Америки, концепты времени, порядка и хаоса, художественный ритм, традиции, документальная и массовая литература, постмодернизм. Моя научная карьера – младший, научный, старший, ведущий сотрудник и на два пятилетних

срока – заместитель директора института, курирующий зарубежные отделы. В свою «команду» меня взял новый директор «из своих», Александр Борисович Куделин, арабист, всю жизнь проработавший в нашем институте и ставший академиком. Он пришел на смену Феликсу Кузнецову и пригласил меня в свои заместители. Почему? По его словам, при консультациях с сотрудниками никто не сказал обо мне ни одного плохого слова. Вообще, при том, что у меня практически не было в институте близких людей, с которыми я бы дружила домами (за исключением Майи Кореновой), на всех голосованиях – на новую должность или в профком – я получала наибольшее число голосов или единственная собирала все голоса. Куделин даже шутил (хотя в этом была доля истины) что, наверное, я плохой администратор, раз за столько лет ни с кем не испортила отношения. Столь же успешно складывалась и карьера моего мужа – крупный лингвист, востоковед, заместитель директора Института востоковедения, затем директор Института языкознания. Как и его мать, с пятого раза был избран членом-корреспондентом РАН.

С наступлением новых времен стал меняться и ИМЛИ, ряды которого значительно поредели. И в высокообразованных кругах человеческая природа не меняется – стало ясно, кто занимался наукой по призванию, а кто – просто ради престижа. Вторые, особенно выходцы из советской номенклатуры, при любой власти стремившиеся плавать наверху, ушли зарабатывать деньги, перейдя в более престижный класс бизнесменов. Некоторые уехали за границу, нашли мужей-иностранцев – это стало модным. И даже те, кто эмигрировать не осмелился, с радостью отсылали своих отпрысков в западные университеты, откуда они редко возвращались. Одним словом, каждый искал, где лучше ему, а «патриотизм» и «общественное благо» были объявлены «советским атавизмом» и преданы осмеянию. Социальное поведение сотрудников во многом зависело от принадлежности к тому или иному поколению. Самыми верными институту оказались прежде всего старики-старожилы, привыкшие всю жизнь напряженно работать и делать академическую карьеру. К ним примыкали «шестидесятники» и многие из моего поколения. Хуже всего было с молодежью, большинство уходило, вновь поступившие долго не задерживались, так как параллельно работали в коммерческих фирмах, что не оставляло им времени для научных занятий. У каждого поколения были свои достоинства и недостатки, в каждом были разные люди, и все же характерные типажи были очевидны. «Пуганое» старое поколение сохраняло рудименты интеллигентской психологии и осторожность, не изменяя накатанную колею своей судьбы. Интересно повели себя «шестидесятники», вообще поколение очень противоречивое. В целом будучи критически настроенными по отношению к советской власти и с радостью воспринявшие перемены, они не могли избавиться от романтического идеализма, который я считаю «имманентно ложным образом действительности». Я имею в виду не столько стремление изменить реальность в соответствии с каким-то умозрительным идеалом, сколько игнорирование и искажение ее образа при наложении этого идеала. Не многие из них поняли, что крах их «перестроечных» надежд связан главным образом не с

продажной властью и захватившими ее коррупционерами и карьеристами, а с непреложностью объективных законов истории и человеческой психологии. Нельзя отменить абсолютную зависимость формы государственного и общественного устройства от уровня исторического развития сознания и культуры населения. Правы те, кто говорил, что в России можно построить «шведский» социализм, но только где взять столько шведов? Наивные демократы мечтали о свободе, открытых границах, доступе к мировым культурным ценностям и возможности самовыражения, тогда как чаяния простого народа были гораздо проще – их прекрасно выразил один уральский рабочий: «мужику нужны твердый заработок, чтобы прокормить семью, вечером – пиво, а в выходные – рыбалка». Демократы восхищались тем, что европейские старики могут, выйдя на пенсию, путешествовать по миру, а наши старушки вздыхали по советским временам, когда можно было пройти пять километров до магазина в райцентре и купить себе леденцов. Так что, как были наши прогрессивные интеллигенты «страшно далеки от народа», так и остались.

Что касается моего поколения, то охватившая его лихорадка обогащения и потребительства не стала для меня особой новостью. Большинство всегда замыкалось в своей семье и частной жизни, это были конформисты, следовавшими принятым в данный момент нормам поведения. Современный капитализм, конечно, лучше советского социализма, хотя бы потому, что исторически обусловлен, а не навязан фанатиками-утопистами, но очевидно, что и он трансформируется и готов уже уступить место какой-то новой формации. В России же его пороки приобрели гротескные формы. Фактически, успех, благосостояние и вес в обществе стали приносить только два вида деятельности, во все времена считавшиеся самыми позорными – спекуляция (наш бизнес) и ростовщичество (наши финансы). Остальное – наука, искусство, медицина, образование и пр. были объявлены уделом неудачников, лентяев, бездарей и безынициативных людей. Если вы пластический хирург и исправляете носы женам олигархов, слава вам и почет. Если же вы в провинции лечите детей бедных родителей, вы ничтожество.

Мало кто понимал, что в России вместе с эпохой первоначального накопления воцарится буржуазность, столь ненавидимая и высмеиваемая во все эпохи и во всех странах интеллектуалами и гуманистами. Вот эта буржуазность для меня – самая неприятная черта молодого поколения (разумеется, не всего), хотя в разных социальных слоях она проявляется по-своему. У офисного планктона критерии жизненного успеха удручающе, карикатурно примитивны – квартира, обязательно переделанная под «студию», огромный загородный дом, построенный в элитном поселке (что меня удивляет – совершенно никто не старается найти живописное место), машина определенной марки (на ней принято ездить на работу, даже если рядом метро, а стояние в пробках занимает часы), покупки продуктов в дорогих супермаркетах (до рынка никто не унижается, и среди лета покупаются импортные глянцевые фрукты), партнеры модельной внешности, отдых на островах, фитнес-клубы и обучение детей за границей. Но это все внешнее – гораздо хуже бессердечность, невероятный эгоцентризм,

презрение к старшему поколению как к выжившему из ума и отсталому, убежденность, что мир создан только для них и они должны делать только то, что хотят. С этим, к сожалению, я сталкивалась и в среде научной молодежи, для которой главное – собственные профессиональные интересы и карьера, а все сторонние поручения выполняются крайне неохотно. Это индивидуализм именно буржуазный, имеющий мало общего с интеллигентским персонализмом, всегда направленным к миру.

В новое время заметно обострилось извечное российское противостояние западников и славянофилов, теперь – демократов и патриотов, которое было особенно сильным в гуманитарных сферах. Не состоять в каком-то лагере, а тем более не быть к нему причисленным, было достаточно трудно. К счастью, в обоих станах было немало нейтральных людей, объективно оценивающих ситуацию, умеющих сохранять разумный баланс и терпимость. Но были и абсолютные фанатики, испытывающие ненависть друг к другу. Попробую дать несколько утрированную характеристику демократов и патриотов.

Демократы, как правило, одевались в джинсы, майки и свитера, не признавая пиджаков и галстуков; приветствовались также куртки, кроссовки, шарфы и легкая небритость, во рту сигарета, сумка через плечо. Сидеть было модно развалившись, нога за ногу, руки скрещены на груди. Особый шик – речь, инкрустированная ненормативной лексикой, женщин нисколько не смущались. Совершенно не обязательно было соблюдать пунктуальность, и вообще считалось необходимым демонстрировать пренебрежение ко всяким условностям, пофигизм и цинизм. Все это у этих высокообразованных людей из вполне приличных семей должно было свидетельствовать о полном свободомыслии, индивидуальности и исключительности и, не в последнюю очередь, подавать сигнал «я свой». Их внешность и поведение ни в коем случае не должны были походить на внешность и поведение «советских функционеров», ходивших в однотонных строгих костюмах и старавшихся вести себя «культурно», то есть в соответствии с признанными условностями.

Мне это казалось очень странным. Я тоже терпеть не могла дух казармы и лицемерия и понимала, что за пристойным фасадом идейных партийцев скрывается невежественное жлобство, но мне казалось, что противостоят им лучше было бы иным образом, а именно – воспитанностью и культурной речью. Выбранный же демократами стиль был откровенно хамским, с моей точки зрения, не разделявшим, а сближавшим их с общей массой. Не лучше было бы походить на дореволюционных профессоров, а не на привокзальных алкоголиков? Это было бы более «взрослое», а не подростковое выражение протеста.

С изменением места и веса демократов в обществе они утратили свое декларативное аутсайдерство и стали занимать элитарную нишу иного рода. Именно они теперь претендуют на роль нового дворянства и преемника старой интеллигенции, а также главной движущей силы европеизации России. Нужно отдать им должное – среди них действительно есть много образованных людей и серьезных профессионалов, но есть у них черты, принципиально отличающие их от интеллигентов рубежа XIX и

XX веков, так как находятся они в совершенно другой культурной системе. При том, что в обоих случаях образцом для подражания служили высокая культура Европы, у тех западников объектом трансформации были Россия и ее народ, который необходимо было просветить, то есть они были народоцентричны. Для новых же демократов, кстати, скорее, ориентированных на американскую плебейскую демократию, страны за пределами Москвы просто не существует – это безнадежно инертная и косная масса, разбросанная по диким пространством и влачащая там бессмысленное, почти первобытное существование. Эта «элита» существует «в себе» и для себя и мыслит она себя шире национальных границ, так как ее «свои» расселены по всему земному шару. Ее родина – Садовое кольцо, а сразу за ним располагаются Париж, Лондон, Нью-Йорк, Тель-Авив, Амстердам и т.д. Причем, игнорируется не только простонародная масса, но и любой «не свой». По отношению к чужакам за внешней вежливостью и доброжелательностью сквозит полное равнодушие, холодность и пренебрежение. В этой среде стало модным заниматься русской историей, культурой и литературой, но в этих студиях в большинстве своем нет попыток охватить все их пласты и все точки зрения и тем более продолжить отечественную научную традицию. И позиция, и инструментарий, и взгляд исключительно западные, почерпнутые у ученых французской, немецкой, американской и пр. школ. Даже писать считается престижным на английском языке, хотя известно, что язык выражает особый тип мышления и мировосприятия. Гуманитарные науки должны оперировать национальными языками, потому что универсальны только естественно-научные законы. Безоговорочный перенос на российскую почву (так же, конечно, как и кондовая приверженность неразвивающимся традициям) иностранной методологии и картины мира губительно для своеобразия и преемственности отечественной культуры. Выдает направленность таких студий и сложность их языка, насыщенная иностранными терминами-кальками «заумь», явно рассчитанная на своих и не предусматривающая просветительскую функцию.

В отличие от демократов-западников, русофилы-патриоты существуют исключительно в отечественной культурном пространстве и прекрасно чувствуют за собой народ, что во многом связано с тем, что большинство из них принадлежит к нему по происхождению. Это имеет свои положительные и отрицательные моменты. С одной стороны, они уважают людей, и не только высоколобых, лучше знают национальную психологию, не дают прерываться традициям, но, с другой стороны, многие из них увязли в патриархальности и ортодоксальности и грешат комплексами нелюбви и недоверия ко всему иностранному. Как-то мне удалось побывать на одном собрании патриотов, после которого состоялся концерт, произведший на меня комическое впечатление – церковные песнопения, ложкари, казачкий хор, «Стенька Разин», «Коробейники», «Прощание славянки», баяны, да и в зале – бороды, косоворотки, косы, все исконное и посконное, как будто за окнами XVII век. К сожалению, многие патриоты отличаются излишней желчностью и нетерпимостью и порой откровенным фанатизмом и невежественностью. Один из них доказывал,

что русские пейзажи и архитектура – лучшие в мире и намного превосходят итальянские, что Москва – столица человечества и т.д.

Не знаю, договорятся ли когда-нибудь эти антагонисты, и, главное, будет ли найден какой-то разумный компромисс. Пока одни хотят перекроить жизнь в стране на западный манер, другие – навечно оставить все без изменений. К счастью, значительная часть моих коллег сохраняет здравый смысл и ищет здоровую середину, не бросаясь в крайности, но в целом у демократов институт не считается передовым учреждением, так как пытаются бороться за сохранение Академии наук и отечественных научных школ.

В ИМЛИ я поняла, каким многомерным и противоречивым может быть человек. Среди моих сотрудников очень малоординарных людей – сама профессия требует достаточно высокого интеллекта и развитого личностного начала. С талантливыми людьми очень непросто, как правило, они очень эгоцентричны, самолюбивы и трепетно относятся к признанию их заслуг. Часто способности, характер и нравственные качества несоизмеримы, и просто диву даешься, как тонко чувствующий и, казалось бы, все понимающий аналитик и эстет может проявлять мелочность, обидчивость, бестактность или совершать безнравственные поступки, как какой-то рядовой обыватель. За обаятельной дружеской доброжелательностью вполне могут скрываться равнодушие и холодность, и, напротив, замкнутые, малоприятные нелюдими оказываются способными на сочувствие и заботу.

Партийная борьба особенно разгоралась во время выборов в Академию наук, и в советское время бывших ареной жестоких боев и интриг. Невестка и жена избираемых и выборщиков, я в течение нескольких лет имела возможность наблюдать за этой человеческой комедией и всегда жалела, что не обладаю пером Гоголя или Салтыкова-Щедрина, чтобы ее описать. Мне рассказывали, что мальчики из «конторы», поставленные на прослушивание телефонных разговоров академиков и член-корроров (это было обязательным) во время академических выборов просто умирали со смеху. В ход пускались откровенная лесть, слезные просьбы, откровенные взятки, если не деньгами, то билетами на кинофестиваль, дефицитными путевками и продуктами, а иногда даже картинками и каракулевыми шубами, бывало и молодыми женами. Потом все в основном перешло на партийные рельсы. В академических мозгах просчитывались различные расклады и ходы, велись переговоры, где обсуждались стратегия и тактика, шли на взаимовыгодные уступки, сделки и компромиссы, одних «пускали», других «придерживали». Претенденты быстро лепили и издавали сборники ранее опубликованных работ, чтобы между выборами появилось что-то новое солидного объема. И самое удивительное, что при этом все же проходили серьезные ученые и достойные люди (хотя еще больше оставалось за бортом).

Своей московской жизнью в целом я была довольна и думаю, что такой вариант моей судьбы был самым оптимальным. О том, что не зависело от меня по объективным обстоятельствам, бессмысленно сокрушаться, но надеюсь, что я сумела разумно распорядиться многими

дарованными мне возможностями. Мне всегда не доставало близких людей и большой семьи, но, наверное, хорошо, что я никого не произвела на свет и никому не передала свои несовершенные гены. Все известные мне больные поликистозом почек получили его от своих матерей и, как правило, умерли в том же возрасте, а их дочери, такие же несчастные, от материнства отказались.

Я прожила нормальную жизнь до 62 лет (в этом возрасте умерла мама) и еще весной путешествовала по Перу, но к осени начались слабость, падение давления, зашкаливал остаточный азот. Поход к врачам и их приговор были неизбежными – спасти, вернее, отложить мой уход может только диализ. Тогда уже появился перитонеальный диализ, который мне предложили как альтернативу гемодиализу. Признаюсь, что сначала я колебалась, стоит ли мне продолжать жить в такой ситуации, мне не хотелось прекращать свой образ жизни, быть прикованной к дому, расставаться с работой, прекратить путешествовать, без чего терялись всякий смысл и радость существования. К смерти я была готова, и к ее дате тоже, так как давно знала свой диагноз и сроки. Но потом я взяла себя в руки и решила сделать все возможное, чтобы сохранить как можно больше из прежней жизни. Я сохранила свою должность, приспособилась делать диализ в перерыв в своем кабинете, продолжала писать. К тому же, оказалось, что существует международная программа, по которой диализники могут бесплатно получать растворы в других странах. Я веду почти нормальный образ жизни – гуляю по паркам, хожу на выставки и в концерты, общаюсь с людьми, летом мы отдыхаем в Подмосковье, навещаемся в мой родной Киев, ездим за границу на море, там по мере сил путешествуем. На диализ я научилась смотреть как на еще одну необходимую процедуру, вроде чистки зубов, хотя чувствую себя далеко не всегда хорошо и прекрасно понимаю, насколько я недолговечна. Но научилась жить сегодняшним днем и почти счастлива – я выпросила у судьбы уже несколько лет, я успела реализоваться, я видела много земных красот, я оставила по себе какую-то, пусть небольшую память – у меня много статей и книг.

Как все люди, которые знают, что скоро уйдут, я научилась ценить каждую минуту, радоваться вещам, которые раньше не замечала или которые вызывали только раздражение – неровному асфальту, запаху бензина, облезлым заборам. Уже многих близких мне людей нет, в том числе и моих ровесников, и я радуюсь, что еще могу видеть то, что они уже никогда не увидят.

Зачем я написала эти воспоминания и для кого? У меня нет детей и внуков и вообще близких людей, которым это было бы интересно. Я не знаменитый человек, и хоть встречалась и общалась с людьми знаменитыми и выдающимися, писать о них не хочу, чтобы не уподобиться тем мемуаристам, которые пишут опус на тему «я и великие». Это просто, с моей точки зрения, короткий очерк нравов моего времени и повесть о том, как не легко человеку, воспитанному в традициях уничтоженной культуры жить в культуре, для него чужой. Возможно, лет через 200 это будет интересно будущему социологу и историку. Кроме того, я хотела

сохранить память о поглощенных временем местах, событиях и людях. Мне жаль, что они могут пройти бесследно, как будто их и не существовало. Я не стала подробно писать о своем внутреннем мире, опустила много тяжелых воспоминаний, постаралась не быть слишком злопамятной, простила многие предательства - не хочу умножать недоброту в этом мире. Я не стала упоминать действительно низких и жестоких людей, которые встречались в моей жизни и причинили мне много зла – пусть уйдут из этого мира навсегда, не оставшись в ничьей памяти. Я не стала писать ВСЕ, потому что все – это правда об очень несовершенном мире и человеке, и нет ничего страшнее ее, а человек обязан, чтобы быть человеком, преодолевать хаотичную реальность и свою природу, и, пусть только в своем сознании, создавать упорядоченную логичную картину окружающего. Жизнь, конечно, тяжела, иногда невыносима, прежде всего, своей пошлостью, обыденностью, бессмысленностью, жестокостью, но (банальная мысль) она все же прекрасна – мир такой многообразный, и в нем есть какая-то тайна. Я хочу уйти с любовью к нему и с благодарностью за прожитую жизнь, какая бы она не была. Единственное сожаление – я никогда не узнаю, что мы такое и зачем мы существовали. Как жаль, что нельзя возвращаться хотя бы раз в сто лет и узнавать о том, как дальше развивалась человеческая история и что нового узнала наука.

СОРЕВНОВАТЬСЯ В ЗУБРЕЖКЕ?

На страницах газет идет дискуссия о проблемах школьного обучения. До сих пор высказывались в основном педагоги, ученые, работники Министерства просвещения. Я ученица, лицо наиболее заинтересованное, мне тоже хотелось бы поделиться своими мыслями.

Говорят, в некоторых школах снизилась успеваемость. В связи с этим директора и педагоги принимают меры, из которых самые распространенные – комсомольские и классные собрания. Отстающие устраивают разнос, называя их лентяями, «теми, которые мешают», и т. д. Не забывают и «троечников», которые могли бы стать «хорошистами», и «хорошистов», которым стыдно не быть отличниками. При этом учеников любят сравнивать с рабочими. Но почему-то забывают, что если тем же рабочим вместо подъемных кранов, экскаваторов, автоматов, дать лопаты и допотопные станки, то их планы, наверное, тоже выполнялись бы на тройку.

Есть у нас лоботрясы и хулиганы? Есть. Но таких меньшинство, и не о них здесь речь. Далеко не все ученики, о которых говорят, что они занимаются не в полную меру своих возможностей – люди равнодушные, лентяи. Я знаю, например, «плохую» ученицу, увлекающуюся поэзией и философией. Я знаю парня, который может получить тройку по географии, но дни и ночи будет сидеть над физическими формулами и опытами.

В 15–17 лет молодой человек уже может знать, что он хочет, по какому пути пойдет. Но он много времени тратит впустую: на плечи «гуманитарников» школа сваливает непререкаемое знание физических законов и химических формул, а учеников, которые думают посвятить себя точным наукам, перегружает историческими датами.

Конечно, знакомство с точными науками необходимо для всех: они способствуют развитию абстрактного, логического мышления. Однако не обязательно всем изучать их в таких подробностях, которые явно нужны только профессионалам. Учить надо тому, что в дальнейшем действительно пригодится. Этого можно добиться только при дифференциации обучения.

Школа воспитывает людей, цель жизни которых – отдать себя и свои знания народу, Родине, будущему. Это не громкие слова, без этого немислим человек, которому предстоит жить при коммунизме.

Вот почему там, где молодежь делает первые шаги, должна быть такая обстановка, которая в каждом воспитывала бы высокие мысли и чувства. Для этого необходимо уничтожить все лазейки, удобные для карьеристов, приспособленцев, мещан.

А такие лазейки, по-моему, в школе есть. Ввели, например, конкурс аттестатов. После этого многие ребята взялись за зубрежку. Тут уж речь идет совсем не об интересе к наукам! Попробуй, в самом деле, устоять, когда и родители, и учителя твердят одно: не получишь хорошего аттестата – не поступишь в вуз, останешься за бортом. И вот человек сидит и по восемь часов зубрит, зубрит, нервничает из-за каждой четверки, спорит из-за каждой тройки. Заброшены колбы, «Теория относительности»,

несобранный приемник, тетрадь со стихами. Ведь не всем под силу учиться отлично и одновременно уйти с головой в любимое занятие.

Человек больше не работает на мечту, он работает на аттестат.

Я, например, слышала, как ученик говорил учительнице, ругавшей его за стандартные фразы в сочинении: «Я бы написал то, что думаю, но за это пятерку не поставят, а мне нужно поступить в институт».

Разве таким путем нужно повышать успеваемость? Разве при таких условиях действительно лучшие, увлеченные своим делом поступят в вуз?

Е. Стеценко, ученица 11-го класса, Киев

«Комсомольская правда», 21 февраля 1964 г.

Стеценко Екатерина Александровна

НЕ ДАТЬ ИСЧЕЗНУТЬ

Воспоминания

Чебоксары, 2019 г.

Составитель *В.М. Алпатов*

Компьютерная верстка и правка *Е.В. Кузнецова*

Дизайн обложки *Н.В. Фирсова*

Подписано в печать 06.11.2019 г.

Дата выхода издания в свет 13.11.2019 г.

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура Times. Усл. печ. л. 6,045. Заказ К-555. Тираж 500 экз.

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

428005, Чебоксары, Гражданская, 75

8-800-775-0902

info@interactive-plus.ru

www.interactive-plus.ru

Отпечатано в Студии печати «Максимум»

428005, Чебоксары, Гражданская, 75

+7 (8352) 655-047

info@maksimum21.ru

www.maksimum21.ru